



# Владислав **КРАПИВИН**

**БРОНЗОВЫЙ МАЛЬЧИК**



Паруса «Эспады»

Владислав Крапивин  
**Бронзовый мальчик**

«наследники Крапивина»

1994

**Крапивин В. П.**

Бронзовый мальчик / В. П. Крапивин — «наследники Крапивина», 1994 — (Паруса «Эспады»)

ISBN 978-5-699-27146-7

Одно из лучших произведений В.П.Крапивина, рассказывающее о сложной, но увлекательной жизни мальчика Дани по прозвищу Кинтель. В нем через судьбу обыкновенного подростка отображается вся сложность современной жизни. Когда читаешь эту историю, начинаешь понимать, как важно быть человечным и отзывчивым в нашем порою циничном мире...

ISBN 978-5-699-27146-7

© Крапивин В. П., 1994

© наследники Крапивина, 1994

## Содержание

Часть первая	5
КОЕ-ЧТО ОБ ОТЦАХ И ДЕТЯХ	5
НАД ВСЕЙ РОССИЕЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО	14
ПЕСНЯ О ТРУБАЧЕ	17
РОДОСЛОВНАЯ	22
СОСТЯЗАНИЕ	30
ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА	37
РАРИТЕТ	42
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# Владислав Крапивин

## Бронзовый мальчик

### Часть первая

#### ТЕНЬ ФРЕГАТА «РАФАИЛ»

#### КОЕ-ЧТО ОБ ОТЦАХ И ДЕТАХ

В комнате деда висела над письменным столом карта полушарий. Небольшая, чуть шире развернутой газеты. Желтовато-серая, с мелкой россыпью названий и бледными очертаниями материков. Очень потрепанная – с протертыми до холщовой подкладки сгибами, с неровными, как осколочные пробоины, дырами на пересечении этих сгибов. Вверху было написано: «Изображение Земного Шара совокуплением новейших открытий. Ст-Петербургъ 1814».

Дед однажды объяснил Кинтелю, что карта осталась от важного чиновника, который жил в этом кирпичном двухэтажном доме в давнее-давнее время. Напечатали карту в том году, когда Александр Сергеевич Пушкин учился в школе, которая называлась лицеем, а русская армия разгромила Наполеона и вошла в Париж.

– И было еще много неоткрытых островов и земель. Видишь, даже Антарктиды тут нет, пустое море...

Пятилетний Кинтель уже знаком был с Пушкиным – по сказкам. Слышал кое-что и про войну с Наполеоном. Знал и об Антарктиде: это большая ледяная страна, где поселок Мирный и пингины (а белых медведей там нету). На нынешних картах Антарктиду рисуют внизу, в отличие от похожей по названию Арктики, которая наверху...

Когда дед ушел, Кинтель решил исправить географическое упущение. Взял синий карандаш, помусолил его и собрался изобразить шестую часть света, как подсказывала фантазия. Однако нижний край карты висел у самой кромки стола, рисовать неудобно. И Кинтель, сидя на столе как в песочнице, отвлекся, начал разбирать мелкие буквы названий.

В верхней части Африки с частыми веснушками клопиных и мушиных следов он прочитал: «Сахара или Песчан. степь». Кинтель знал, что Сахара – громадная. Надпись же была до обидного маленькая, не соответствовала масштабу великой пустыни. И Кинтель (помусолив карандаш заново) вывел жирными печатными буквами: САХАРА.

Он заканчивал последнюю "А", когда вошла бабушка. Кинтель был снят со стола за штаны и воротник, награжден шлепком и отправлен в угол с приказом стоять и размышлять о своем пакостном поведении. Кинтель был человек спокойный и разумный. Он понимал, что в этом случае бесполезно сопротивляться и хныкать. Такое на бабушку не действовало. Действовало когда-то на маму, но мама полгода назад уехала в очень долгую командировку и неизвестно когда вернется. Поэтому Кинтель стал стоять и размышлять. Но не о поведении, которое считал не пакостным, а разумным (только бабушке это не объяснишь). Он размышлял о названии «Сахара», похожем на «сахар». Нетрудно было предположить, что пустыня (или «песчан. степь») покрыта сыпучим сахаром, который тоже называется «песок» (бабушка часто досадовала: «В гастрономе с утра песок давали, а я опять прозевала»). От этого пустыня – белая и слепящая, как снежное поле, только там не мороз, а, наоборот, страшная жара. От жары и липкой сладости хочется пить... Кинтель стоял, облизывался и вздыхал.

Конечно, Кинтель был не так глуп, чтобы всерьез поверить, будто песок в пустыне – сахарный. Просто придумалось такое. И он не стал делиться этой придумкой ни дома, ни в

детском саду. Ни с кем – ни с Алкой Барановой, ни даже с лучшим другом Рафиком. Потому что мало ли кто как отнесется, вдруг начнут хихикать и дразнить. Кинтель этого не терпел, хотя обиду показывал редко. Он был сдержанный и деловитый.

Дед так и сказал отцу, когда тот забирал Кинтеля к себе:

– Он человек рассудительный и ответственный, у вас хлопот с ним не будет.

Бабушка умерла летом, когда Кинтель был на детсадовской даче. Его привезли утром в день похорон, и неживая бабушка показалась ему чужой, неприступно-строгой. Она словно обиделась на всех в этом мире и лежала теперь как бы отгороженная невидимым, но непрошибаемым стеклом. И подходить к ней было не то чтобы страшно, а просто бесполезно...

Среди общих вздохов, сдержанных слез, приглушенных голосов и сладкого запаха цветов и хвои Кинтель ощутил себя потерянным и никому не нужным. Он не испытывал большого горя, потому что (если уж до конца честно говорить) бабушку любил не очень сильно, побаивался. Но его давила горькая досада и угнетало первое понимание, что бывают в жизни события, перед которыми бессильно даже множество взрослых людей. События, которые переворачивают жизнь, никого не спросив об этом.

Дед с отцом говорили, что Кинтелю нужен женский глаз, тем более что мальчику скоро в школу.

– Ты теперь человек семейный, Лиза у тебя женщина разумная, а из меня какой воспитатель... – доказывал дед.

– Ладно, – вздохнул отец. – Укладывай чемодан, Данила.

Данила, Даниил, Даня – это было настоящее имя Кинтеля.

Отец жил на другом конце города, в поселке под названием Сортировка. В этом районе как раз построили новую школу и объявили, что это будет не простая школа, а гимназия, и станут в ней учиться всяким искусствам и несколькими иностранными языками. Для такой школы и ученики требовались особые. Брели не всякого, а по конкурсу. Тетя Лиза обрядила Даню в костюмчик ярко-желтого цвета, и отец повел свое чадо на экзамен, который назывался «собе-се-до-ва-ние».

Долго ждали в коридоре, потому что ребят и родителей собралось много. Очень многие мамы и папы хотели, чтобы их дети стали гимназистами. Наконец строгая учительница позвала из-за двери: «Даня Рафалов!» Отец остался, Даня вошел. Спросили о том о сём: где живет, любит ли рисовать, нравится ли ему в детском саду и где работают мама и папа. Даня неторопливо объяснил, что папа работает инженером в строительно-монтажном управлении номер одиннадцать, а мама не вернулась из командировки и «видимо, у нее теперь другая семья». Дяденька и две тетеньки за столом переглянулись. Дали книжку «Рассказы о животных», попросили почитать вслух. Даня слегка удивился, стал читать про попугая ару, который живет в тропических джунглях.

– Хватит, – сказала пожилая тетя. – Молодец. – И обратилась к другим: – Это явно не детсадовский уровень.

– Кто тебя научил так читать? – спросил дядя в очках.

Кинтель слегка растерялся:

– Я... не знаю. Никто...

– Как – никто? – недовольно сказала полная тетя с красивым, только чересчур гладким и розовым лицом. – Кто-то же занимался с тобой? Папа, бабушка?..

Кинтель пожал плечами и уставился в пол. Не знал, как сказать. Ему всегда казалось, что умение читать – это с рождения. Ну или с самого раннего возраста, как умение ходить и говорить. Само собой прививается. Правда, бабушка и дедушка в давние времена показывали Кинтелю на карте разные буквы и слова. Но насколько он помнил, это было лишь для того, чтобы объяснить: старинная «ять» произносится так же, как «е», а на твердый знак в конце

слова вообще не надо обращать внимания. В общем, было что-то вроде игры, а читать он и тогда вроде бы умел так же, как сейчас...

И вот он стоял и смотрел себе под ноги. И наверное, выглядел туповато. Потому что розовая тетя вполголоса сказала:

– Типичное дитя из неполной семьи... Ну и что же, что техника чтения хорошая? А в остальном явный дебил.

К несчастью, Кинтель знал, что такое дебил. Эльза Аркадьевна в детском саду это слово говорила часто. И сейчас Кинтель не то чтобы обиделся, но решил уточнить. Все расставить по местам. Маленький, аккуратно причесанный, в своем канареечном костюмчике и белых гольфах, он переступил на ковре новыми лаковыми башмачками и сообщил со вздохом:

– По-моему, вы не правы. По-моему, вы сами дебилка.

Ну и пошел мальчик Даня из школы-гимназии. Вернее, вприпрыжку двинулся за отцом, который молча и размашисто шагал к дому, ухватив сына за кисть руки.

У себя в комнате отец достал из ящика стола длинную блестящую линейку и подбородком указал на диван:

– Ну-ка, укладывайся...

Кинтель посопел, почесал о плечо щеку. Снял и аккуратно поставил рядышком лаковые башмачки. Ладонью смел с диванного пледа крошки и деловито улегся на живот, стараясь не помять парадную одежду. По опыту он знал, что спорить с жизненными обстоятельствами, когда они явно сильнее, не имеет смысла. А пускать слезы и просить прощения он считал унижительным. К тому же, спеша по тротуару за отцом, он успел поразмыслить и пришел к выводу, что назвал розовую тетю дебилкой зря, это был явный промах. А за промахи приходится расплачиваться.

Улегшись, Кинтель сбоку поглядывал на отца и старался угадать: как тот поступит? Станет хлопать линейкой по штанишкам или по голым ногам? В последнем случае боль будет липкая и горячая, придется мычать и дергаться, чтобы не зареветь во весь голос. Эльза Аркадьевна в детском саду тоже воспитывала провинившихся линейкой, такой же, и всегда старалась впечатать по голому. Правда, Кинтелю при его спокойном характере доставалось не так уж часто, а вот приятель Рафик то и дело зарабатывал «блинчики»...

Отец подышал на линейку, потер ее рукавом рубашки, и Кинтель зажмурился, приготовившись к худшему. Но тут в комнате появилась тетя Лиза. И закричала на отца. Как, мол, не стыдно поднимать руку на маленького! Да почти что на сироту к тому же!.. Где это он грубил, что такое сказал?.. Ну и правильно сказал, если эта дура с первой минуты накидывается на незнакомого ребенка!.. Ну и проживет он без этой гимназии, свет на ней клином не сошелся!..

Она подняла Кинтеля, вынесла его из комнаты, а сама осталась доругиваться с отцом.

Кинтель был, конечно, рад такому повороту. Но особой благодарности к тете Лизе не ощутил. Потому что кричала она слишком громко и усердно. Словно старалась показать: вот я хотя и мачеха, а жалею мальчика, даже отцу не дала в обиду.

Кстати, никакой обиды на отца Кинтель и не чувствовал. Отец в ту пору казался ему (видимо, с непривычки) существом верховным, выше критики и сомнений. Со временем это ощущение, конечно, рассеялось, но было уже поздно: привязаться к вечно занятому и раздражительному папе Кинтель так и не сумел.

Тетя Лиза была добрая. Иногда покрикивала, но не обижала и заботилась. Лишнюю домашнюю работу не навьючивала, а от нелишней Кинтель сам не прятался. На рынок бегал, ковры пылесосил и даже кашу варил маленькой тети Лизиной дочке.

Девочку звали увесистым взрослым именем Регина. Когда тетя Лиза вышла за отца, Регишке было два года. Она стала теперь для Данькиного отца как бы дочерью – значит, сестренкой Кинтеля. И он это принял как должное. Нельзя сказать, чтобы очень полюбил ее, но возиться с ней не отказывался, играл, в детский сад водил. И не прогонял Регишку от себя,

если даже та надоедала. Потому что чего с нее возьмешь, с несмышленной... И пожалуй, о ней-то, о Регишке-мартышке, он только и грустил, когда ушел из отцовского дома.

Но случилось это лишь через четыре года, когда Кинтель закончил начальную школу.

А в том году, после «со-бе-се-до-ва-ния», в школу он так и не пошел. Вернулся в детский сад, только уже не в старшую группу, а подготовительную. И оказалось, что ничего не потерял, по крайней мере во времени. Учили здесь тому же, чему в первом классе, и сказали, что потом ребята пойдут в начальную «трехлетку», а после нее – сразу в пятый класс и там догонят тех, кто сейчас, в свои шесть лет, сделался первоклассником (так потом и получилось). Эльзы Аркадьевны в детском саду уже не было, ее уволили, всезнающая Алка Баранова сообщила, что это – за линейку. Потому что в том году началась перестройка, при которой лупить детей в садиках не полагается (разве что слегка хлопнуть ладонью).

Жаль только, что Рафика уже не было: он поступил в английскую спецшколу и пути их с Данькой разо-шлись...

После детсада в школу-гимназию Кинтель, конечно, не пошел, пошел в «обычную». И слава Богу, хлопот меньше. Ребята в классе были, правда, чересчур бестолковые и гвалтливые, не такие, как в садике. Но Кинтель пообжился, привык. Тем более, что учительница Вера Дмитриевна была спокойная, кричала редко и совсем не дралась.

Кстати, именно в школе Кинтель получил свое прозвище. До этого он дома был Даней и Данилой, а в садике или на улице – Рафиком. Из-за фамилии. Их с приятелем так и звали: Рафик Черный и Рафик Белый (хотя, по правде говоря, Данька был не белый, а светло-русый).

В школе же получилось так. В начале первого класса было собрание, на котором полагалось рассказывать о своих мамах-папах и прочих родственниках. У кого из них какие профессии. Даня про отцовскую работу в СМУ почти ничего не знал, а что касается мамы, то незадолго до того, в августе, пришло сообщение о катастрофе. К тому, что мамы с ним нет, Кинтель давно привык и при том известии даже не заплакал, только полдня молча просидел в уголке... А сейчас, на собрании, он стал рассказывать о деде:

– Мой дедушка был моряком...

– Врешь ты! – заявила вредная Нинка Сараева. – Моя мама знает твоего дедушку. Он работает в больнице и заведывает кадрами...

– Ну и что! Это сейчас в больнице, а раньше плавал на теплоходе «Донецк» по океану. Он был корабельный врач. У него карточка есть, он на ней в капитанской фуражке и в белом кинтеле...

Ух как все возвеселились!.. Вот так и бывает – ошибешься по малолетству в одном слове и ошибка остается с тобой на всю жизнь...

Даня уже знал, что, если тебе всей толпой приклеивают прозвище, спорить не имеет смысла. Это как раз то жизненное обстоятельство, с которым не повоюешь, надо принимать его как есть. И первоклассник Даня Рафалов принял. Тем более, что причина скоро забылась, а само по себе новое имя было совсем не плохим. В нем чудилось даже что-то морское: шкентель, вентиль, бензель, трюмсель... Данька за три года настолько привык быть Кинтелем, что ничуть не удивился, когда прозвище переключалось за ним в новую школу. Вышло это вот почему: в классе, куда Кинтель попал после переезда, училась Алка Баранова, хорошая знакомая по детсаду. Она знала всё про всех. И тут же сообщила пятиклассникам, как зовут новичка...

В этой школе Кинтель оказался «по семейным обстоятельствам» (так дед написал в заявлении). Случилось вот что. Был уже конец августа, Кинтель помаленьку готовил учебники и тетради, а тетя Лиза все охала, что никак не может купить школьную форму. Кинтель успокаивал: форма нынче в школах не обязательна. Это услышал отец. Он и вообще-то никогда не был особенно ласковым, а в те дни ходил особенно раздражительный: то ли на работе не ладилось, то ли с тетей Лизой чего-то не поделил. Придирался и к ней, к тете Лизе, и к пятилетней Регишке, и, само собой, к Даньке. И тут он тоже ввязался:



– Посмотрите-ка, форма ему не нужна! Охота быть разгильдяем снаружи и внутри! Нагляделся на всяких хиппи, да? Сам такой же!..

Кинтель ровно, без всякой скандальности поправил отца:

– С чего это я такой же? Ничуть не похож.

– Не похож? Погляди на себя! Зарос, как леший в чертовом урочище! Парикмахерская в двух шагах, а тебе все лето лень туда сходить!

Выгоревшие волосы у Кинтеля и правда отросли, за-крывали уши и шею, но ведь у всех так в конце лета. Он объяснил, что перед первым сентября сходит и подстрижется. О чем тут шуметь?

– Не к первому сентября, а немедленно! Лиза, дай ему рубль! И марш!..

Те времена, когда Кинтель подчинялся безропотно, миновали. Он и в нынешнюю пору старался зря не спорить, но все же умел возражать, если сталкивался с чем-то совсем неразумным.

– Всего же неделя осталась. Тридцать первого схожу. А сейчас у меня и без того куча дел...

– Ты еще разговаривать будешь?! Дискуссию, как в парламенте, устраивать? Не-ет, я тебе отец, а не девочка-вожатая в лагере...

Он рывком вывел Кинтеля в прихожую, локтем прижал к себе его голову, схватил с подставки у зеркала ножницы и лязгающими взмахами выстриг в отросших волосах борозду!

– Вот так! Теперь пойдешь, никуда не денешься!

Тетя Лиза, конечно, запричитала. Кинтель вырвался, ушел в ванную. Плакал он редко, но тут, глядя на себя в зеркало, пролил тихие злые слезы. Потом умылся. Поддернул пыльные, переделанные из старых школьных штанов шорты, заправил под ремешок майку. В коридоре нахлобучил кепку с длинным козырьком и надписью «CAPITAN». Побренчал в кармане мелочью и ушел.

Парикмахерская была окраинная, народу – никого. Кинтель молча забрался на высокий стул перед зеркалом и лишь тогда стянул с головы кепку. Сказал молоденькой, славной на вид мастерице:

– Вот. Что тут можно сделать?

Та не удивилась. Тихонько спросила:

– Кто тебя так?

У Кинтеля опять скребнуло в горле. Но ведь положенную норму слез он израсходовал еще в ванной. И сейчас вздохнул только:

– Папаша психанул... Теперь под машинку, да?

– Ну нет. Попробуем что-нибудь, постараемся...

И постаралась. Получился светлый симпатичный ежик. Правда, лицо сделалось непривычно круглым и сильно торчали уши, но все-таки было гораздо лучше, чем лысая башка.

– Спасибо большое... – Кинтель полез в карман за деньгами.

– Не надо. Купи себе лучше мороженое. – И девушка добавила полупшепотом: – Когда в горле щекочет, мороженое полезно...

Кинтель так и сделал: постоял в очереди за мороженым (шестьдесят копеек стаканчик), неторопливо слизал всю порцию. Он был спокоен, потому что принял решение.

Отца дома не оказалось. Тети Лизы тоже – ушла к соседке. На глазах у притихшей Регишки собрал Кинтель свою нехитрую одежонку, уложил в чемоданчик, с которым в июле ездил в лагерь. Затолкал в ранец учебники и тетрадки. Сказал Регине:

– Ну, пошел я. Не скучай...

И через час приехал к деду, шагнул в комнату, снял кепку:

– Толич, я пришел к тебе...

Имя деда было Виктор Анатольевич, а Кинтель по младенческой привычке звал его Толич.

Дед – высокий, худой, но с круглым животиком – встал над Кинтелем, глянул сверху вниз:

– Вижу... А ты чего... такой? Будто из зоны выпущенный.

– Обожди, расскажу по порядку.

– Ну, садись, рассказывай... Ты, видать, с ночевкой прибыл? Время позднее...

– Ты не понял, Толич. Я к тебе насовсем.

Виктор Анатольевич склонил голову набок:

– Д-да... Это как у Ильфа и Петрова: «Я к вам пришел навеки поселиться...» Читал?

Впрочем, едва ли...

– Читал. «Золотой теленок»... Только не по порядку, там скучные места есть... Этот дядька стихами разговаривал и свет не гасил в туалете, его за это выпороли... А почему считается, что это смешная книжка?

– А разве нет? – сдержанно спросил дед.

– По-моему, жалко его...

– Ну ладно. Рассказывай.

Кинтель насупленно поведал, что случилось. И сообщил, что жить у отца больше не собирается.

– Сам видишь, мне теперь или к тебе, или в подвалы...

– В какие такие подвалы?

– Не знаешь, что ли?

Кинтель объяснил, что есть места, где зарастают сорняками фундаменты недостроенных домов. Дома эти начали было возводить, но то ли кирпича, то ли чего другого не хватило, стройки обнесли забором и оставили. Под фундаментами – обширные подвалы. Там обитают ребята, сбежавшие из интернатов и детских домов. А сбежали они, потому что детдомовская жизнь совсем невтерпеж. Сбились в компании, оборудовали в подвалах общежития... Всякие там есть пацаны, но в общем-то ничего, нормальные. Главное, живут дружно, маленьких не обижают. Правда, воровать приходится, чтобы прокормиться...

– Да кто сейчас не ворует, – закончил рассказ умудренный жизнью Кинтель. И добавил, что с некоторыми из тех пацанов знаком, сам бывал в подвалах, носил их обитателям кой-какую еду. Потому что надо же помочь людям, там среди них совсем малолетки есть...

– Знаю я про это, – нахмурился дед. – В исполкоме обсуждали не раз... Какая там жизнь! Придет милиция – и крышка!

– Ну Толич... Ну какая милиция! Подвалов знаешь сколько! А милиции даже на преступников не хватает.

– Всю жизнь в подвале не протянешь, – заметил дед. – Когда-нибудь придется выходить, думать, что дальше...

– Вот и я про то же... Толич, я буду спать где раньше, на маленьком диване. А в школу ты меня запишешь, в ту, что на улице Мичурина. Самая близкая, по месту жительства...

– Все разом решил, – хмыкнул дед. – А тебе не жаль со старой-то школой расставаться?

– Не-а... Ее все равно расселяют по разным, кого куда. Потому что на верхнем этаже потолок обвалился после ремонта. Хорошо, что летом, никого не пристукнуло...

Дед, конечно, еще возражал, пробовал уговаривать Кинтеля. Объяснял, что у него, у деда, жизнь вдовья, одинокая, воспитывать мальчишку, хлопотать о нем ему не с руки.

Кинтель сказал, что воспитывать его ни к чему. А хлопотать о себе он будет сам. И о Толиче заодно. И вообще наведет порядок в доме.

– А то у тебя вон мусор по углам и посуда немытая...

– Отец все равно не позволит, – заметил Виктор Анатольевич. – У него на тебя родительские права.

– А у тебя родительские права *на него*. Скажи, что не отдашь меня, он послушается.

Отец позвонил около десяти вечера. Видимо, порядком встревоженный и разозленный. Кажется, разговор он начал «не с того оборота», потому что Толич тут же вскипел и заорал в трубку, что «если у тебя что-то задницу скребет, нечего на мальчишке злость срывать! И никуда он не поедет! И не отец ты, а сукин сын! Поразговаривай еще!...».

На следующий день отец явился за Кинтелем лично. Тот, однако, уперся, Толич тоже. Был у отца с дедом крупный разговор, а в конце концов Виктор Анатольевич показал Валерию Викторовичу аккуратно сложенную фигу... Потом, правда, приутихли, договорились уже по-хорошему.

Дому, в котором жил дед, было лет двести. Двух-этажный, с высокими окнами, с лепными львиными мордами под крышей (которые большей частью отвалились). Раньше, говорят, были даже колонны перед фасадом, но после революции зачем-то их сломали. Другие дома по улице Достоевского (бывшей Купеческой) тоже были старые, но не такие большие, деревянные. Впрочем, к тому времени, когда Кинтель вернулся к деду, на месте многих домов зарастали репейниками пустыри, среди которых местами торчали круглые голландские печки. Потому что года три назад городское начальство распорядилось эти ветхие строения снести и построить здесь новый микрорайон – вроде тех желтых, причудливо изогнутых и ребристых корпусов, которые, как горный хребет, поднимались неподалеку. Но сломать сломали, а строить... К тому же и времена изменились, и начальство было уже другое... И старый каменный дом с облезлой штукатуркой по-прежнему возвышался над низкими крышами, пустырями и косыми заборами... Несмотря на обшарпанный вид, он хранил остатки былой красоты и достоинства...

После смерти бабушки дед обитал в двухкомнатной квартире один. Имелась даже отдельная кухонька. Только ванная была общая, на все три квартиры второго этажа.

В первый же день, когда Виктор Анатольевич отправился на работу, Кинтель навел в холостяцком жилище порядок. Пропылесосил истертый палас, перемыл тарелки и стаканы, расставил как надо на полках книги (многие он помнил и любил еще с прежней поры). Начистил кухонной пастой древний бабушкин самовар и старинный канделябр на столе у деда. Прибил оторвавшийся угол карты с синей надписью «Сахара». И пыль везде вытер, даже в завитках резной рамы, в которую был вставлен тоже старый, маслом писанный портрет.

На портрете была красивая дама – бабушка Толича. То есть прапрабабушка Кинтеля Текла Войцеховна Винцуковская. Строгая, с гладкой прической, в коричневом платье с высоким кружевным воротничком, она выпрямилась на стуле и держала на колене толстую небольшую книгу с застежками. Наверно, старинную.

Дед говорил про портрет, что он «так себе с точки зрения живописи». Кинтель в живописи не разбирался, портрет ему нравился, несмотря на строгий вид. Потому что Кинтель к нему привык за годы детства. И однажды (давно еще) Кинтель обиженно спросил Толича, почему «так себе».

– Оттого, наверно, что художник такой. Прямо скажем, не Рембрандт. И не с натуры писал, а с фотографии, в двадцатых годах. Бабушка заказывала в какой-то артели. Говорила: «Вот умру скоро, будет вам память...» Ну, теперь уже дело не в качестве, все равно семейная реликвия.

Фотографию, с которой была написана реликвия, Кинтель тоже видел. Она хранилась в старых бумагах у отца. На снимке прапрабабушка была не одна, справа от нее стояла курносая девочка лет двенадцати, в длинном платье с оборками и высоких ботинках. Слева – тонколицый темноволосый мальчик в гимназической форме, с твердой фуражкой в руке. Девочка была мама Толича, прабабушка Кинтеля, мальчик – ее друг детства. Никита, кажется. Он рано умер или погиб. На фотографии рядом с мальчиком (под книгой, которую держала, заложив страницу пальцем, прапрабабушка) было выцарапано: «УМ. 1920 г.». Дед как-то обмолвился: «Мама моя грустила по Никите всю жизнь...»

Художник, может, и не очень талантливый, но старательный. Портрет получился похожий на фотографию. И аккуратный такой, с мелкими деталями. Тщательно прописаны были волосы прически, кружева и даже медные пряжки на книжных ремешках. В глазах блестели желтые точки, отчего взгляд казался живым...

Кинтель почтительно протер холст портрета, изничтожил под ним карбофосом клопное гнездо, открыл окна и решил пройтись. Надо было восстановить контакты с местным населением. За последние три года Кинтель бывал здесь нечасто, и его наверняка позабыли.

Оказалось, что на улице Достоевского и в окрестных переулках самый главный среди пацанов некий Джула, Кинтелю вовсе даже не знакомый. Этот Джула с тройкой друзей-приятелей повстречался Кинтелю сразу, как тот побрел вдоль пустырей.

– Ты откель такой?

– Жить здесь буду. Во-он там... – Кинтель с деланной беззаботностью мотнул головой в сторону дедова дома.

– Ну-у? – удивился тощий чернявый Джула. – А прописка есть?

– А как же, – спокойно сказал Кинтель, оценивая обстановку.

– Молодец, – похвалил Джула, – куревом балуешься?

– Не-а. Здоровье берегу. У меня хронический оцепилобруцелез.

– Чего? – удивился один из Джулиных спутников, круглый, как картошка (звали его, как потом выяснилось, Кнопа). Джула тихо цыкнул на него и отозвался с пониманием:

– Дело ясное... А полтинничек найдется? За прописку-то платить надо, за нашу, местную.

«Начинается», – сообразил Кинтель. И сказал:

– Повтори, не слышу.

– Я говорю, полтинничек... – повысил тон Джула.

– Все равно не понял.

– Уй ты какая... – начал заводится Джула. – Такой обабок, а...

Кинтель знал, что врубаться в такую компанию надо сразу. Не боясь никакого урона, без оглядки. Иначе потом будет не жизнь... Он произнес негромко, но отчетливо:

– Щас как впечатаю по... третий глаз в пупу выскочит. И побежишь пятый угол искать в... – И добавил еще несколько слов, от которых у всей компании появилось на лицах озадаченно-почтительное выражение.

– Во дает... – уважительно заметил Джула. – Ты с какой летающей тарелки сюда хлопнулся?

– Да это Данька Рафалов! – сунулся в разговор бледно-рыжий Витька Зырянов, ровесник Кинтеля. – Он здешний, он раньше в нашем доме у деда с бабкой жил...

– И сейчас опять буду тут. Навсегда, – решительно объяснил Данька. – И зовут меня теперь Кинтель. Кин-тель. Такое морское слово...

Твердость позиции оценили. Джула снисходительно сказал:

– Так бы и говорил сразу. А то мы думали «дворянчик», оттуда... – Он косматой головой мотнул в сторону, где желтыми утесами громоздился новый микрорайон. Назывался он у местных жителей «Дворянское гнездо», потому что, по слухам, жили там всякие высокие чины.

– В натуре, что ли, похож? – усмехнулся Кинтель. Знал, что не похож на «дворянчика» в своих мягких штанах, стоптанных полукедах, в серой от пыли майке. Да еще со стрижкой «как у амнистированного».

– Ладно, сойдешь за «достоевского», – признал Джула. Так называли себя пацаны этой улицы и ближних окрестностей...

Словом, все кончилось нормально. Хотя не совсем. Во время этого разговора неподалеку вертелась восьмилетняя сестра Витьки Зырянова. Она скоро наябедничала матери, что соседа внук «во как выражался на улице». А Зырянова накапала, конечно, Виктору Анатольевичу.

Перед ужином дед сдержанно сказал:

– Поступили агентурные данные, что ты сегодня на улице поливал местных мальчишек такими словами... что деревья желтели раньше срока. Было?

– Толич, – со вздохом отозвался Кинтель, – а как разговаривать, если сразу карманы трясти начинают? По-французски, что ли? Как виконт де Бражелон с графиней Монсоро?

– Ты – начитанное дитя и, видимо, тертое жизнью. Только не чересчур ли?

Кинтель отозвался философски:

– Жизнь, она ведь не спрашивает, когда трет: чересчур или нет... А про Монсоро я не читал, скучная книжка. Кино видел...

– Ты не увиливай от темы...

– Я не увиливаю. Ты, Толич, наверно, боишься, что я этим самым сделаюсь... трудным подростком и всяким там наркоманом, да? Не бойся, хлопот у тебя со мной не будет.

Виктор Анатольевич, смущенный тем, что внук прочитал его мысли, пробубнил:

– Ну да, «не будет». Сам-то я кефиром и батоном поужинал бы, а теперь вот надо готовить... А вермишель почему-то вся слиплась...

– А ты ее промыл, когда сварила?

– А разве надо?

– Горе мое, – сказал Кинтель. – Пошли...

На кухне, поливая из чайника дуршлаг с вермишелью, Кинтель напомнил:

– Завтра, как пойдешь на работу, сахарные талоны оставь мне, а то конец месяца, пропадут...

...Все это случилось два года назад, в августе восемьдесят девятого. Потом Кинтель очутился в пятом классе, в который благодаря новой программе попал сразу после третьего. Затем в шестом. Все это время жил он у деда. С отцом вроде бы помирился, но заходил к нему не часто. Лишь для того, чтобы навестить Регишку. И вот наступил еще один учебный год.



## НАД ВСЕЙ РОССИЕЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО

В субботу седьмого сентября, в середине дня (потому что учились во вторую смену) семиклассник Данька Рафалов отправился на уроки. Настроение было по погоде. А погода была – лучше некуда. Кое-где по-осеннему желтели клены, но тепло стояло совершенно летнее. Градусов двадцать пять. И небо – без единого облачка.

Такая погода устанавливалась еще в августе, в те дни, когда шумели на площадях митинги, пестрели над головами разноцветные флаги и плакаты, студенты и «афганцы» строили на улице Ленина баррикаду и в воздухе висели слова «переворот», «хунта», «Белый дом». Белый дом, в котором президент России держал осаду, был далеко, в столице, но и здесь, в Краснодзержинске, ощутимо запахло порохом (к счастью, в переносном смысле). Девятнадцатого числа, когда только все началось, дед утром позвонил Кинтелю с работы и велел никуда не соваться из дому.

– Даже за хлебом не ходить?

– Сходишь – и сразу домой!

Кинтель, конечно, поступил по-своему. Полдня шастал по центру, слушал кричащих в мегафон ораторов, помог толпе энергичных мужиков завалить поперек мостовой троллейбус, взял у волосатого парня десяток листовок и деловито раздал прохожим. Политикой Кинтель не интересовался, но физиономию премьера, часто виденную по телевизору, терпеть не мог. Этот премьер так взвинтил цены на все товары, что соседка тетя Клава Зырянова часа два орала в коридоре и отлупила ни в чем не повинного Витьку. Кроме того, Кинтеля оскорбляла прическа премьера. После истории с отцом и ножницами Кинтель никогда уже не отращивал длинные волосы, прическа сделалась для него привычной. И вот этот премьер, который устраивал людям всякие пакости то с обменом денег, то с ценами, имел наглость делать себе такую же стрижку, как у Кинтеля. Правда, кинтельский ежик был не в пример симпатичнее премьерского, не такой маленький и торчащий. Но даже малейший намек на схожесть казался Кинтелю возмутительным... И когда люди поднялись против этого типа и всей генеральской компании, захотевшей устроить всеобщее чрезвычайное положение, Кинтель сразу понял, на чьей стороне надо быть...

Дед в тот вечер пришел поздно. Сразу сел настраивать старенькую «Спидолу», поймал радио «Свобода». Потом по шестому каналу ТВ пробилась в эфир ленинградская передача с Собчаком и указами российского президента. Дед сказал:

– Ну слава Богу, блицкриг не получился. Будем надеяться, что ни черта у генеральской сволочи не выйдет... – Потом глянул в черное, с откинутой шторой окно, грустно усмехнулся: – А погода-то сегодня днем была... Над всей Россией безоблачное небо.

«В Москве-то, говорят, дождь», – подумал Кинтель. Но ничего не сказал. Он знал, что со слов о безоблачном небе, прозвучавших по радио (только не в России, а в Испании), начался в Мадриде фашистский мятеж. Давным-давно, когда еще даже деда на свете не было, в тридцать шестом году...

А в Краснодзержинске небо в эти дни и в самом деле было чудесное. Особенно с двадцать первого числа. Двадцатого, в полночь, прогудели, как при учебной тревоге, и дружно остановили работу главные заводы. И на следующее утро небесную синеву не портил ни один дымок...

Правда, через сутки заводы заработали снова, потому что была уже победа. Но небо (видимо, в честь этой победы) оставалось все следующие дни чистым, как синее стекло. И новенький бело-сине-красный флаг в этом небе казался особенно праздничным. Он хлопал на теплом ветру над башней горсовета, над главной площадью города, которому в эти дни срочно вернули старинное имя – Преображенск.

...И сейчас небо над Преображенском было такое же ясное. И ясно было на душе. И Кинтель, посвистывая, свернул в Камышловский переулок. По нему до школы самый короткий путь. Самый короткий – не самый быстрый. Пришлось остановиться. Четверо местных (и Зырянов тут же, и Кнопа – везде их просят!) взяли в полукольцо незнакомого мальчишку. Видать, разбор устраивали: «Кто такой, чё тут ходишь по нашей улице? Гони полтину за проход...»

Кинтель с ходу определил, что пацаненок из «Дворянского гнезда». Аккуратненький такой, не чета «достоевским» охломонам. Видать, недавно приехал в эти места, записался в здешнюю школу и не знает еще, что ходить туда надо по людной улице Челюскинцев. По переулкам и улице Достоевского для «дворянчиков» путь не безопасен.

Мальчишка был небольшой, судя по всему, пятиклассник. Потому что более младшие классы учились с утра. А шестиклассники и семиклассники, хотя форму и отменили, соблюдают солидность, в шортах в школу не ходят. Кроме нескольких пацанов из скаутского отряда «Былина». Но те всегда при своих нашивках, витых синих галстуках и аксельбантах. А этот в неформенной клетчатой рубашке – яркой, желто-сине-зеленой.

Был у мальчишки и галстук. Пионерский. Дополнительный повод, чтобы не дать человеку мирно добраться до школы. В здешних местах только Кинтелю позволялось спокойно ходить в красном галстуке. Все знали, что Кинтель делает это из принципа. Точнее, из упрямства. Первого сентября их новая классная, Диана Осиповна, сообщила, что «вопрос о пионерской организации пока неясен, она в состоянии кризиса, особенно сейчас, при нынешнем отношении к партии». Поэтому лучше, мол, галстуки не носить, чтобы школу не обвинили в «излишней идеологизации учащихся».

– Впрочем, это личное дело каждого, – добавила она и поджала губы. В прошлом году учителя еще писали замечания в дневник, если кто был без галстука, а тут – надо же! – перестроились. И Кинтелю стало противно, и с того дня он ни разу не забыл надеть галстук. Даже гладил его каждое утро. Кроме него, в седьмом "А" галстуки носили только несколько девчонок да маленький и всегда вроде бы послушный Ленчик Петраков. Когда к нему пристали было: «У, юный пионер, пережиток коммунизма», он ошетинился, как дикобраз: «Идите на фиг, я клятву давал!» Отступились. А Кинтель зауважал Ленчика. Самого Кинтеля, кстати, не трогали, будто галстука на нем не замечали, только Алка Баранова хмыкнула пару раз...

Может, этот пацан, прижатый к забору, такой же принципиальный, как Ленчик? К галстуку потянулись, мальчишка молча отмахнулся. Он прикусил нижнюю губу и переводил с одного врага на другого зеленые, широко посаженные глаза...

Среди всяких недостатков у Кинтеля был один очень досадный: слабая память на лица. Вот и сейчас показалось, что вроде бы встречал этого мальчишку. Но где, когда? Может, нынешним летом, когда был в лагере «Голубая стрела»? Там десять отрядов, каждого не упомнишь. Впрочем, не важно...

Кинтель подошел, плечом отодвинул бестолкового Витьку Зырянова:

– Ша, братва. О чем базар?

Джулы не было, самый большой тут – Эдик Дыханов, чуть постарше Кинтеля. Дых сказал с ухмылкой:

– Сидим на лавочке, никого не трогаем. И вдруг этот, из Дворянского... Идет в своих белых носочках, как по ковру, не здоровается с местным населением. Мы говорим: "Скажи, мальчик, «здрасьте». А он...

– Обойдешься, Дых, без «здрасьте», – сказал Кинтель.

А прижатый мальчишка глянул на него удивленно и, кажется, с радостью. И знакомо так... Почувствовал избавление?

– Кинтель, ты чё, – обиделся Дых. – Из-за такого фраера на своих скребешь?

– Сам ты фраер, – лениво разъяснил Кинтель. – Что за привычка врагов искать? Идет человек, вас не задевает... Между прочим, ко мне идет, не к вам... Айда, Саня... – Кинтель взял мальчика за руку. Он, конечно, рисковал: Дых мог сообразить, что мальчишка шел не к дому Кинтеля, а в другую сторону. Однако Эдька только захлопал глазами.

Имя Кинтель сказал наугад. А точнее, что-то припомнилось. И кажется, угадал: мальчик улыбнулся, открыв крупные редкие зубы, поддернул ремень спортивной сумки.

– Да, пошли, конечно.

– Чё, в натуре, что ли, кореш твой? – сказал им вслед Эдька Дых досадно и ревниво. Кинтель не оглянулся.

Когда свернули на улицу Мичурина, Кинтель выпустил руку мальчишки. Тот смотрел со смесью смущения и доверчивой радости.

– Здравствуй! А я и не знал, что ты здесь живешь. Ты ведь тогда не успел оставить свой адрес...

Кинтель, размышляя, сделал несколько шагов. Потом, глядя под ноги, проговорил насупленно и решительно:

– Ты хоть обижайся, хоть что... но я не помню, где мы встречались.

– Да? – Мальчик вежливо постарался сдержать нотку разочарования. – А откуда знаешь, как меня зовут?

– Ну... так, от фонаря.

Мальчик на ходу чуть отодвинулся от Кинтеля. Коричневой ногой в белом носочке и новенькой сине-желтой кроссовке пнул на асфальте пивную пробку-звездочку, та запрыгала, заискрилась. Потом он спросил слегка отчужденно:

– А если не помнишь, зачем же стал заступаться... за незнакомого?

– Ну а что? За незнакомого нельзя? Если четверо на одного...

Мальчик Саня сказал непонятно:

– Тогда... тем лучше... – И добавил уже иначе, беззаботно: – А встречались мы прошлым летом на теплоходе. На «Михаиле Кутузове». Помнишь?

– Ой... Салазкин!

## ПЕСНЯ О ТРУБАЧЕ

Судно было новое, громадное, длиной сто тридцать метров. Четырехпалубное. Когда оно подходило к дебаркадеру какой-нибудь прибрежной деревеньки на «зеленую стоянку», казалось, домики прижимаются к земле, как стайка маслят в траве. Будто надвигается на них белый многоэтажный город и вот-вот подомнет под себя...

Впрочем, «зеленые стоянки» не вызывали у пассажиров энтузиазма. Мокрая трава, серое небо... Все было хорошо в этом плавании, кроме погоды. Дули зябкие ветры, иногда швыряли в «Кутузова» горстями колючие дожди. Погудев и включив марш «Прощание славянки», теплоход, как айсберг, отваливал от берега и уходил на пасмурный простор реки. Туристы сидели в каютах и салонах. Торчали у окон или смотрели в кинозале видяшки.

Но Кинтель много времени проводил на палубе. Точнее, на палубах. Чтобы не озябнуть без движения, он поднимался и опускался по трапам, обходил от кормы до носа и обратно одну палубу за другой. Смотрел на подернутые моросью берега, где медленно плыли назад высокие леса, села с колокольнями, похожие на сказочные городки монастыри и просторные, как тысячи стадионов, луга... И уравнивая свою скорость со скоростью теплохода, реяли над кормой чайки. Крупные – совсем белые, а поменьше – с черными головами. Ровно бурлила у бортов вода...

Когда Кинтель оказывался на носу, он часто видел там этого мальчишку. Тот кутался от ветра в большую (наверно, у матери взял) поролоновую куртку и стоял всегда у поручней, отгораживающих бак – носовую площадку с запасными якорями и с брашпилями, на которую вход пассажирам был запрещен. Ветер вскидывал у него, будто крылья, коричневые волосы, а мальчишка не отворачивался, смотрел вперед.

Иногда появлялась молодая красивая женщина, говорила негромко, но отчетливо и звонко – так, что было слышно далеко:

– Салазкин, опять ты здесь. Пойдем, а то совсем продрог.

Мальчик не спорил, уходил с мамой. Но скоро вновь оказывался у поручней бака.

Встречал Кинтель Салазкина и в других местах. Тот обитал с матерью и отцом (худым дядькой в больших очках и с профессорской бородкой) через три каюты от Кинтеля. И в ресторане их столики были недалеко друг от друга. И Кинтель скоро поймал себя на том, что приглядывается к этому мальчишке больше, чем к другим ребятам. Сперва он посматривал на Салазкина со спрятанной в себе снисходительной усмешкой. Мальчик был ужасно благополучный, выросший в семейном тепле, при неустанных маминых заботах. Забота эта сказывалась в мелочах, которые украдкой подмечал Кинтель. В том, как мать во время обеда незаметным шепотом учит сына держать нож и вилку, как поправляет на нем воротничок и как из каюты окликает его в коридоре: «Салазкин, ты куда? Пожалуйста, не убегай надолго!»

«Небось на скрипке играть учиться, – думал Кинтель. – Или на фигурное катание ходит... А в классе, наверно, на нем воду возят, кому не лень... Хотя, скорее всего, он из спецшколы – из музыкальной или английской, там все такие...»

Салазкин не стеснялся приласкаться к родителям на глазах у посторонних. Подойдет, потрется о локоть матери щекой, как котенок, или подкрадется сзади к отцу, прыгнет на спину и повиснет, болтая худыми ногами в черных колготках. Мама одевала свое дитя, как детсадовского мальчика. «В третьем классе, наверно, а все еще как дошкольник – внутри и снаружи», – думал Кинтель.

Впрочем, в размышлениях Кинтеля не было никакого недоброго чувства. Был стыдливый интерес, которого Кинтель стеснялся даже перед собой. Потому что получалось, что он вроде бы заглядывает в чужое окно. В чужую жизнь, где рядом с мальчиком есть мама и папа, где можно позволить себе быть маленьким – доверчиво, без оглядки, без страха.

Если представить человеческую душу в виде пчелиных сот и если предположить, что душа тем счастливее, чем больше ячеек заполнено радостью и любовью, то полного счастья Кинтель не смог бы достигнуть никогда. В самые блистательные моменты жизни одна ячейка все равно чернела бы сиротской пустотой... Нет, Кинтель не жаловался. С Толичем жилось неплохо. Без сомнения, дед его любил. Но так же несомненно, что между любовью деда и маминой любовью – большая разница... А отец жил своей жизнью и Кинтеля вспоминал от случая к случаю...

Завидовал ли Кинтель Салазкину и другим ребятам, которые плыли на теплоходе с родителями? Пожалуй, нет. Какой смысл завидовать той жизни, которая несбыточна? Он только ощущал себя как бы отгороженным, не совсем таким, как остальные, – те, что всегда с отцами и матерями. И видимо, потому не сошелся ни с кем из мальчишек и девчонок на «Кутузове». Только издавек он смотрел на чужую семейную жизнь, ревниво подмечал у ребят и взрослых неповторимые черточки этой жизни: неприметную ласку или нарочитую ворчливость родителей в отношении к своим чадам, умение понимать друг друга без слов, какие-то забавные привычки – вроде той, когда мать зовет сына по фамилии: Салазкин...

Однако скоро Кинтель понял, что Салазкин – не фамилия, а домашнее прозвище мальчишки. Потому что отец иногда окликал его «Саня», мать порой ласково звала «Санки». Ну и ясно: Сани-Санки-Салазкин. А фамилия у него была Денисов. Кинтель это узнал, когда шли по Рыбинскому водохранилищу.

Плавание только начиналось, но Кирилл Георгиевич – специальный человек, отвечающий за развлечение пассажиров – к тому времени уже устал унимать ребят всех возрастов, которые носились там и тут по теплоходу, лезли куда не надо. С утра до вечера он уговаривал по радио родителей следить за сыновьями и дочками. И наконец решил взяться за воспитательную работу. Попросил всех ребят собраться в музыкальном салоне и объявил, что в конце путешествия будет большой концерт детской самодеятельности (с призами!), а пока надо выявить таланты. Кто что может. Петь, читать стихи, танцевать, играть на пианино...

Кинтель, конечно, не собирался выступать, талантов у него не было. И этот «детский праздник на лужайке» его мало интересовал. Но хорошо было сидеть в кресле у широкого, будто киноэкран, иллюминатора и смотреть, как серый простор катит навстречу пенные валы. Рыбинское море разгулялось. Громаду «Кутузова» даже покачивало – палуба иногда мягко уходила вниз, и это вызывало легкое, приятное замирание. Неподалеку шел параллельным курсом длинный низкий сухогруз, и видно было, как белыми взрывами – выше рубки – встает у него перед носом штормовая вода. Над баком «Кутузова» тоже взлетали гребни. Ветер подхватывал брызги и ключья пены, швырял их на стекла, хотя салон был аж на третьей палубе. И не разглядеть было берегов. В общем, как в настоящем море (которого Кинтель еще ни разу не видел)...

А в уютном салоне тем временем кто-то декламировал стихотворения, кто-то бацал на клавишах нехитрые мелодии, семилетние близнецы Вера и Вовчик, несмотря на покачивание, умело станцевали ламбаду. Толстая девочка Рита спела «Эскадрон моих мыслей шальных», и ей очень хлопали... Надо сказать, что всё музыкальное сопровождение песен и танцев взяла на себя мама Салазкина. И вот он сам вышел к пианино.

Кирилл Георгиевич объявил:

– А теперь Саня Денисов из города Краснодарержинска споет...

Кинтель не расслышал названия песни. Его удивление было похоже на мягкий толчок. Значит, они из одного города! (А собственно говоря, чему радоваться? Не все ли равно? Зачем ему этот мамин Салазкин?..)

А Саня Денисов о чем-то шепотом препирался с матерью. Кинтель разобрал его тихо шелестящие, но упрямые слова: «А другую я не буду... Тогда никакую не буду...» Надо же, мальчик умеет спорить с мамой...



Мать Салазкина слегка пожала плечами, улыбкой прикрыла от собравшихся минутный конфликт и заиграла. И Саня Денисов запел.

Голос у него был совсем не сильный. Голосок. Но пел Салазкин чисто и с ясным, сразу проникающим в сознание тоненьким звоном. И песня была... не о кузнечике, не о солнышке и улыбке, не о теплом дожде и прочих детсадовских радостях. Мелодия показалась Кинтелю знакомой, чем-то похожей на тот же «Эскадрон», хотя и не такая залихватская. А слова... Никогда раньше Кинтель их не слышал.

Над волнами нам плыть,  
По дорогам шагать,  
Штормовые рассветы встречать.  
Нам коней горячить,  
Догоня врага,  
Карабины срывая с плеча...

В каждом куплете две последние строчки Салазкин повторял дважды. Песня звенела, и многочисленные звуки "ч" («горяЧить», «с плеЧа») энергично врубались в мелодию, словно подчеркивая кавалерийский ритм.

И быть может, в траву  
Упадем мы с тобой,  
И рассвет не пробьется в ночи.  
Но трубач ни за что  
Не сыграет отбой -  
Не смогли мы его научить...

Мы учили его:  
Если грянет беда,  
Звать в атаку друзей за собой.  
Наш трубач никогда,  
Никогда-никогда  
Не слышал о сигнале «отбой»...

Кинтель задержал дыхание... Казалось бы, песня как песня, что такого. Но зазвенела в Кинтеле ответная струнка. Потому что пел Салазкин вроде бы и не на маленьком концерте в салоне, а на крепостной стене, среди побитых ядрами каменных зубцов. Словно сам он был маленький трубач осажденного войска и бросал врагам последний вызов.

Скоро день расцветет,  
Словно огненный клен,  
Голос горна тревожно-певуч.  
Поднимайся, мой мальчик,  
Рассвет раскален,  
Бьется пламя под крыльями туч...

Помолчали сперва, потом захлопали – сильнее, сильнее. Салазкин стоял, потупившись, перебирая на подоле синего свитера шерстинки... А Кинтель встал и осторожно, за спинками кресел, выбрался к выходу. Потому что никаких других песен, а тем более стишков и «легкой музыки» ему было не надо.

Кинтель был равнодушен к трубачам. Такой уж, наверно, он уродился несовременный. Старинные печальные марши духового оркестра волновали его гораздо больше, чем хитрые ритмы синтезаторов и электронных гитар. От посторонних Кинтель это свое увлечение, конечно, скрывал: обсмеют с головы до ног. И только с дедом они иногда по вечерам ставили на проигрыватель пластинку, с которой неслись трубные голоса двенадцатого года и Севастопольской обороны. А еще – мелодии вальсов, которые в давние-давние времена (когда была молодой прапрабабушка Текла Войцеховна) играли в садах и на бульварах военные оркестры.

А один раз Кинтель чуть сам не сделался музыкантом в оркестре. Это еще когда он жил с отцом. В двух кварталах был детский клуб «Орбита», и в нем занимался ребячий духовой оркестр. Упругие звуки волторн и геликонов слышны были даже сквозь двойные стекла.

Как-то раз, весной третьеклассник Кинтель прижался носом к окну и увидел оркестр при полном параде. Наверно, шла генеральная репетиция. Все ребята (даже девчонки) были в алой гусарской форме и черных лаковых киверах с золотыми кистями. А трубы сияли так заманчиво, марш звучал так призывно, что Кинтель не выдержал – через несколько дверей и коридор проник в зал.

В перерыве его заметили, но не прогнали. Высокий дядька с черными глазами и с бородой, как у Емельяна Пугачева на портрете, поставил Кинтеля перед собой и спросил:

– Что, явился на звуки труб?

– Ага... – выдохнул Кинтель. – А мне можно... у вас?

– В принципе можно. Только подрасти сперва.

– А... сейчас?

– У нас с двенадцати лет занимаются. Понимаешь, надо, чтобы легкие были покрепче, зубы попрочнее...

Кинтель набрался смелости и сказал, что он и сейчас вполне прочный. Весь, от макушки до пяток.

– Можно я только попробую...

– Ну попробуй, – усмехнулся чернобородый.

Кинтелю дали серебристую трубу. Вроде пионерского горна, только длиннее. Называется «фанфара». Кинтель дунул, получилось шипение. Все засмеялись, но не обидно. Потом объяснили, как прижимать к губам мундштук и как толкать сквозь них воздух. Называется «атака языка». Кинтель попробовал разок, другой. Выдал хриплые звуки. Потом зажмурился, настраивая себя на серьезное дело. Сильно напруг губы. И у него получилось четыре разных звука, четыре чистые ноты. При этом кончик языка задрожал, и музыка вышла трепещущая, переливчатая.

– Ух ты, какое тремоло! – удивилась девочка с флейтой.

А бородатый руководитель сказал, что «мелодия почти как у Чайковского».

– Будто начало «Итальянского каприччио». Ну-ка, еще раз.

Кинтель попробовал снова. Получилось уже не так удачно, однако все заплодировали.

И все же в трубачи Кинтеля не взяли. Сказали, что директорша клуба все равно не позволит. Но разрешили Кинтелю приходить на занятия и считаться запасным. И обещали, что, может быть, научат играть на барабане. Барабан, конечно, не сверкающая труба с живым голосом, но Кинтель был рад и этому. Тем более, что бородатый Вадим Петрович обещал подобрать для Кинтеля мундир и кивер.

Но скоро все рухнуло. Вадима Петровича прогнали из клуба и грозили ему всякими неприятностями. Говорили, что он занимается с ребятами нехорошими делами. Кинтель не понимал, что это такое. А когда ему объяснили, содрогнулся от отвращения и не поверил. И ребята говорили, что все это брехня, просто директорша невзлюбила Вадима за строптивый нрав и решила таким образом выжить его из «Орбиты». Впоследствии выяснилось, что так

и было. Но в клуб Вадим Петрович не вернулся, стал играть в джазе какого-то ресторана. А оркестр без него распался...

## РОДОСЛОВНАЯ

Поздно вечером Кинтель в своей каюте лежал, смотрел сквозь стекло на звезды в разрывах облаков и вспоминал песню о трубаче. Слова наполовину позабылись, но мелодия в голове повторялась ясно. И уже не пианинная, а будто целый оркестр. Вплеталось в журчание забортной воды.

Теплоход больше не качало. Ветер стих, да и водохранилище кончилось, вошли в Шексну. Дед посапывал на соседней койке. Ему, как и Кинтелю, нравилось плавание, хотя сперва он был расстроен.

Случилось вот что. Была у Толича давняя знакомая, тетя Варя (Кинтель ее тоже хорошо знал). Она часто приходила к деду, помогала по хозяйству, порой по-свойски ругала Кинтеля за школьные неуспехи. Иногда они с бабушкой ходили в театр или на выставки. В общем, близкие друзья. И эта тетя Варя в мае добыла в профкоме две путевки для такого вот плавания. От Москвы до Ленинграда, по Волго-Балту, по Ладоге, потом обратно по Волге, до Казани, и снова в Москву. На целых три недели путешествие. И собирались они вдвоем: тетя Варя и Толич. А для Кинтеля отец купил путевку в лагерь «Голубая стрела» (бывший пионерский, а сейчас оздоровительный). Что ж, каждому своё. Кинтель и не помышлял о дальнем плавании. В лагерь не очень хотелось, но куда деваться?

А за несколько дней до их общего отъезда у тети Вари заболел отец в Омске. Seriously. Тут уж не до туризма, тетя Варя срочно укатила в Омск, а теплоходная путевка досталась Кинтелю (лагерную же быстренько сдали).

Конечно, нехорошо радоваться удаче, которая случилась из-за чужой беды. И все же Кинтель был счастлив. До той поры он, кроме как на детсадовскую дачу да в пионерские лагеря, никуда из своего Краснодзержинска не ездил. А тут: поездка в Москву, а потом по рекам и озерам, через десятки разных городов аж до самого моря. Потому что известно: Ленинград стоит у начала Финского залива, а это уже часть Балтики...

Дед на радостного Кинтеля поглядывал как-то настороженно, потом с непонятной опаской заметил:

– Ну и ладно. А то я боялся, что ты не захочешь...

– Почему?

– Ну... на теплоходе все-таки. Вдруг у тебя предубеждение...

Кинтель сперва не понял, потом спросил прямо:

– Это из-за мамы, что ли? Потому что она погибла на пароходе?

Толич неловко вздохнул.

Кинтель хмуро пожал плечами. Разве море виновато, что в нем гибнут люди? Виноваты были неумелые капитаны, из-за которых два судна врезались друг в друга... А на суше сталкиваются поезда и автомобили, так что теперь? Не ездить, не ходить по земле? И не любить ее?.. Нет, Кинтель не боялся плыть, а увидеть море мечтал давным-давно.

Теперь уже скоро... «Скоро, скоро, скоро», – еле слышно дышали в глубине плавучего города машины. И опять в этот ритм вплеталась, начинала звенеть в мозгу песня о трубаче, который стоит между крепостных зубцов... Или на бруствере окопа...

Кинтель по дыханию деда чувствовал, что тот не спит. Может, думает опять: как там тетя Варя и ее отец? (Толич звонил в Омск с каждой пристани, где были междугородные автоматы.)

– Толич?

– Ну, чего тебе?

– Ты не переживай, все у них будет нормально.

– Я и не переживаю. Вчера Варя сказала, что дело на поправку пошло...

– Ну вот. А ты вздыхаешь. А я буду виноватый, что вместо тети Вари с тобой поехал...

– Не выдумывай. Дурень...

– Ага... Толич, а помнишь такое старое кино про гражданскую войну: там белые наступают на красных, а у тех все меньше и меньше людей. И оркестр играет марш, но в нем люди тоже гибнут один за другим. И вот уже только один трубач. И все равно играет, назло врагу...

– Да, это впечатляло... – сказал Толич. – Это «Мы из Кронштадта»...

– Хорошее кино, верно?

Рассказать напрямую про песню о трубаче Кинтель стеснялся. А дед ее не слышал, в салоне тогда его не было.

Виктор Анатольевич отозвался со скрытым несогласием в голосе:

– Ничего картина, в свое время пользовалась успехом... Но есть и другие фильмы о трубачах. Не хуже...

– Какие?

– Например, «Бег». По пьесе Булгакова. Читал у него что-нибудь?

– Знаешь ведь, что читал. «Мастера и Маргариту».

– А еще есть у него роман «Белая гвардия», и пьеса «Дни Турбиных», и пьеса «Бег». Там не раз повторяется эпизод, как русский полковник приказывает юнкерам разойтись по домам, не вступать в бой с петлюровцами, чтобы не погибнуть напрасно. А несколько офицеров решают застрелиться, и с ними юнкер-трубач, совсем мальчишка.

– Зачем застрелиться?!

– Ну... кодекс офицерской чести.

– А если они белые, то почему воевали с петлюровцами? Те ведь тоже... против красных.

– Ты, Данила, все еще мыслишь, как в школьном учебнике. На два цвета. А все было гораздо сложнее. И смелых людей хватало под всякими флагами...

– Да знаю я...

– И всем бы надо поставить памятники.

«Трубачу-то уж точно...» – подумал Кинтель. А дед гнул свою, видимо, давнюю мысль:

– Иначе что получается? Сегодня одним ставим памятники, другие сбрасываем... Завтра – наоборот...

– Как Павлика Морозова, – вспомнил Кинтель бронзового мальчика в одном из городских скверов. Тот с головы до ног был обляпан мутно-серой краской, а постамент измазан грязью.

– Вот именно! – повысил голос дед. – Задурили деревенскому мальчугану голову, поманили светом, которого он до той поры не видел, сами толкнули на смерть. А теперь кричат: «Предатель!» И забыли уже, как ему и братишке кухонным ножом распорол животы...

Кинтеля передернуло.

– А кино... – продолжал дед, – оно, конечно, всегда за душу берет, если режиссура сильная. И если не знаешь всего...

– Чего «всего»? – настороженно спросил Кинтель. Мелодия в голове угасла, спать не хотелось, тревожно почему-то стало.

– Ну, те же «Мы из Кронштадта». Помнишь, как белые пленных матросов с обрыва сбрасывали? И мальчишку, юнгу... Я в детстве когда смотрел, хотелось прямо на экран броситься, голыми руками давить гадов... А потом узнал...

– Что?

– Сцену эту снимали под Севастополем, на черноморских обрывах. Сколько там красных матросов погибло, не знаю, а вот белых офицеров... Когда красные брали Крым, Фрунзе обещал, что никого из пленных не тронут. Многие поверили, сдались. Кто-то не сумел уйти на кораблях союзников, кто-то не захотел: родная земля все-таки... Их потом выводили на обрывы, шеренгу за шеренгой, и косили из пулеметов. Беззащитных, десятки тысяч... – Дед вдруг закашлялся, как старый курильщик, хотя на самом деле уже не курил... – Представля-



ешь, не десятки человек, не сотни, не тысячи, а *десятки тысяч*. Можно сравнить с населением небольшого города... А за что? Россию они любили не меньше, чем Фрунзе или Тухачевский и другие знаменитые большевики...

«Дед, а ты ведь тоже коммунист», – чуть не выдал мысль Кинтель. Но прикусил язык. Некоторое время лежал молча. Но дед, видимо, почуял вопрос. Он покашлял и вдруг сказал тихо и медленно:

– В институте, на старшем курсе... наш парторг провозгласил: молодые специалисты должны пополнять ряды КПСС. Видать, в райкомовских планах случился недобор по части молодежи... Ну и подкатил этот деятель ко мне. Давай, мол, ты у нас по всем статьям подходящий, на красный диплом тянешь... Нельзя сказать, чтобы я рвался вступать, но, с другой стороны, все-таки «передовой отряд». Кроме того, многого мы тогда просто не знали в нашей истории. Хотя многое и знали... но думали – дело прошлое. А к тому же у меня распределение готовилось в Морфлот, а кто бы мне открыл визу для загранплавания, если бы узнали, что я отказался писать заявление о приеме... Вот так и получилось. Теперь уж почти три десятка лет стаж. Трижды пытались выгнать, не получилось...

– А за что выгнать-то?

– За всякое. Тогда ведь как было? Что-то не так сказал или на работе недосмотрел, сразу: «Партбилет положишь на стол!» Последний раз я не выдержал, заорал: «Ну и подавитесь вы им!» Это было вскоре, как бабушка твоя умерла... Уж что поднялось в парткоме! Крик, экстренное собрание... Ну, не выгнали, учли «состояние, вызванное личными мотивами», дали строгача...

– С занесением? – понимающе спросил Кинтель.

– Естественно... Теперь думаю: может, стоило тогда хлопнуть дверью. Ну поперли бы с должности, ушел бы участковым терапевтом в районную поликлинику. Кое-что помню еще...

– Это никогда не поздно, – философски заметил Кинтель.

– Да теперь и хлопать-то... никакой доблести в этом. Сейчас толпами из партии бегут. Немудрено. Как слушаешь нынешних партбоссов... Нынче вот тоже по радио выступал один. Генерал, фамилию не помню. Такой комиссар-сталинец, аж волосы дыбом. Ты не слыхал?

– Не-а...

В те дни шел съезд Российской компартии, взрослые слушали передачи, обсуждали, спорили. Кинтелю было это «до фени». Но он все же вспомнил:

– Мужики сегодня ругались, вспоминали речь какого-то генерала. Одни говорят: совсем обалдел, мало ему тридцать седьмого года. А другие: правильно, только такие и могут навести порядок...

– Они наведут, дай им только власть. В Тбилиси вон уже репетировали... Не постоят и за тем, чтобы как тогда, в Крыму: по шеренгам из пулеметов... Кстати, мама моя, твоя прабабушка, Ольга Антоновна, проговорила мне как-то, что именно там погиб ее хороший друг, с которым они в детстве играли...

– Это, что ли, тот, с которым они на фотографии?

– На какой?

– Ну, на той, с которой портрет срисован. На портрете твоя бабушка одна, а на фото – с девочкой и с пацаном-гимназистом. Девочка – это, значит, твоя... мама.

– А где ты видел эту карточку? – очень оживился дед. Шумно завозился в сумраке.

– У отца в ящике. Старинная, твердая такая, на обороте всякие завитушки и надпись: «Фотография А.Ф. Молохова». По-старинному написано, буква "и" как латинская, а «эф» будто "о" с перекладинкой. «Фита»...

– Вот оно что... Слушай, а ты не помнишь, там нет всяких мелких цифр? Они острым карандашом были написаны, не очень заметно...

– Есть, по-моему. Только полустертые, я не приглядывался.

– Значит, вот он где, этот фотоснимок. А я все думал: куда девался? Выходит, Валерий прихватил, когда разъезжались, и ничего не сказал.

– Толич, а что там за цифры?

– Мама говорила, Никита ей на этой карточке письмо написал. Шифром. Это перед отъездом на фронт, когда он в четырнадцатом году уходил добровольцем на Первую мировую. А потом он оказался в армии Врангеля, там и погиб... А фотографию мама берегла как память о нем. Ну и вообще о детстве...

– А письмо расшифровала?

– Говорила, что нет... Он ей будто бы сказал на прощанье: «Ключ у твоей мамы в руках...» А в руках у нее книга. Помнишь?.. Думаю, что книга потерялась к тому времени... А может, мама тогда и не приняла это всерьез. Он же, Никита-то, еще совсем был мальчишка, когда на войну ушел. Наверно, решил поиграть на прощанье. Или сочинил очередное признание в любви...

– А что за книга?

– Не знаю, Даня, я не спрашивал. Мама вообще про всякие прошлые дела говорила неохотно. Друг детства – белый офицер, такими деталями биографии раньше хвастаться было не принято. Тем более, что и других тревог хватало...

– Похоже, что это Евангелие, – сказал Кинтель, вспомнив пухлый томик с застёжками. – Я такие в музее видел.

– Возможно, и скорее всего, на польском языке. Бабушка Текла Войцеховна была очень набожная католичка.

– Толич, а она самая настоящая полячка была?

– Да, полька... Родом из Вильно. В Литве всегда было много поляков... Кстати, бабушка утверждала, что она из семейства каких-то польских графов – обедневших, но известных. Будто предок ее был сподвижником Стефана Батория. Жаль, не помню ее девичью фамилию... Но так или иначе, в тебе, Данила, есть капля голубой шляхетской крови... – Дед усмехнулся в темноте.

– Значит, я не совсем русский, а маленько поляк?

– На одну восьмую... А я – наполовину. Мама-то моя тоже исконно польских кровей. Ее отец, мой дед, Антон Винцуковский, был из семьи польских ссыльных, что жили в Преображенске. А с бабушкой познакомился в Вильно и после венчания привез ее в наш город. В тот самый дом, где мы и сейчас живем.

– Небось это был его собственный дом?

– Нет. Управления горных заводов. Здесь жил отец Антона, мой прадед, он был в Управлении каким-то важным чиновником и занимал казенную квартиру. Не ту, что мы с тобой, конечно, а весь этаж... Там и мама моя родилась и была тоже Винцуковская, пока не вышла замуж за Анатолия Рафалова. Твоего, значит, прадедушку...

– «Тени забытых предков», – сказал Кинтель в темноту, – кино такое есть. В мае показывали по телику.

– Знаю. Ну и как тебе кино-то? Понравилось?

– А я не смотрел, некогда было. Просто название вспомнилось...

– Ну, наши-то предки не такие уж забытые. Просто у нас с тобой до сей поры не было разговора об этом...

– А Рафалов... Толич, это ведь тоже не совсем русская фамилия. Какая-то... вроде как с татарским оттенком. Про нас с Рафиком Галиевым в детском саду думали, что оба татары. И мы говорили «ага», потому что всегда вместе...

– Н-нет... это русская фамилия. Тут целая история по отцовской линии...

– Расскажи.

– Тут такое дело... Раньше фамилия писалась «Рафаиловы». Был в русском флоте фрегат «Рафаил». Служил на нем квартирмейстером (это вроде старшины) некто Иван Гаврилов. А когда вернулся к себе на село, недалеко от Преображенска, стали соседи звать его Рафаиловым – по названию корабля, с которого пришел. Потому что много Иван Гаврилов про свой фрегат говорил, отстаивал, так сказать, его доброе имя... У Ивана Рафаилова были дети, один из них, Петр Иванович, преуспел в делах, сделался лавочником в Полевской слободе под Преображенском. И стал писать на вывесках не «Рафаилов», а «Рафайлов». Говорят, книгочей был, много денег на книги тратил, сына своего, тоже Петра, отдал в гимназию. Тот выучился, пошел, как тогда говорили, по железнодорожной части. Был начальником станции недалеко от Глазова. И погиб в колчаковской контрразведке.

– Почему?

– Когда белые подходили, они передали телеграмму: не выпускать со станции красный санитарный поезд. А Петр Петрович Рафайлов выпустил. Потому что знал: постреляют, порубят красных. Тогда лютовали одинаково – что красные, что белые... Ну и взяли его, Петра Петровича. Допрашивали, били. Особенно когда узнали, что сын его Анатолий ушел с красными...

– Твой отец?

– Будущий отец... Петр Петрович пытался бежать, часовой его застрелил... Анатолий, когда вернулся из Красной Армии, приехал в Преображенск, надеялся застать там своего престарелого и разоренного новой властью деда. Но тот уже умер. И тут Анатолий познакомился с Ольгой Антоновной, моей будущей мамой, и увез ее в Вятскую губернию...

– Зачем?

– Видишь ли... Ну, наверно, теперь это можно рассказывать без опаски. Дело в том, что Анатолий Петрович вернулся с гражданской войны вовсе даже не коммунистом. До войны он учился в семинарии и вот после всех военных передрыг решил стать священником. Не знаю, учился ли он для этого еще где-то. Может, были в ту пору какие-то ускоренные курсы священнослужителей. Так или иначе, скоро получил он сан и приход в небольшом селе, в сотне верст от Вятки. А мама моя стала, как говорится, попадшей...

– Странно как-то. Был красным и вдруг... Красные ведь были против Бога и попов...

– Ну, значит, посмотрелся на кровь, решил, что без Бога нельзя на Земле... Сейчас вот опять к тому же приходят... Видать, он крепко был убежден в своей вере, иначе бы не пошел на такое дело. В ту пору сделаться священником было уже небезопасно... До тридцатого года, однако, жили они с мамой без особых бед: отец в церкви служил, мама хозяйствовала. Родился у них сын Володя, мой старший брат. Я его помню, он с фронта приезжал, когда мне было пять лет, в сорок четвертом. А в сорок пятом погиб...

– А в тридцатом-то что случилось?

– Обычное дело. Церковь закрыли, отца посадили. Правда, через полгода выпустили, повальной охоты за «врагами народа» тогда еще не было. Но от сана священника ему пришлось отказаться, стал работать десятником на лесоповале. Однако недолго. Однажды пришел к нему украдкой начальник местного НКВД и говорит: «Отец Анатолий (это он по привычке так), вы человек добрый, хотя и церковный деятель были, и никто от вас ничего, кроме хорошего, не видел, а я, хоть и большевик, не хочу грех на душу брать. Поэтому прямо сейчас уезжайте вы, ради вашего Иисуса Христа, куда-нибудь отсюда подальше. Потому что есть бумага на вас, и сегодня ночью я должен за вами прийти с понятиями...» Ну, отец, и мама, и Володя семилетний тогда подхватились – в Преображенск. Потому что куда еще-то? А там родные. Мамины родители были живы еще и старший брат... У отца был какой-то документ, что, мол, предьявитель сего имеет право быть учителем в начальной школе. Еще с царским орлом бумага, но ничего, сгодилась. Мамин брат помог устроиться на работу... А потом отец окончил учительский институт и до самой войны преподавал в семилетке русский язык и литературу...

– А потом на фронт, да?

– На фронт не взяли, здоровье у него было слабое, язва желудка и еще что-то. Но забрали в трудовую армию. Были такие подразделения, в тылу работали, но по военному призыву... Я их помню, бредут по улице худые, форма – сплошной утиль, обмотки разлохмаченные... Ну, отец заболел, когда они работали на лесозаготовке, и умер в начале сорок второго. Причем похоронили там же, где-то на деревенском погосте, могила потом затерялась. Было мне тогда три года с половиной. И фамилия моя тогда была уже Рафалов. Потому-то отцу удалось каким-то образом изменить ее, когда подавал в школу документ, а потом новый паспорт выписывал. Рисковал, конечно...

– А зачем?

– Ты не понимаешь, как тогда было. Над ним же все годы опасность висела. Если бы узнали, что бывший священник, тут бы он и суток на свободе не прожил. Тогда что творилось-то! Совсем невиноватых брали пачками, по первому доносу, а то и просто так, по разнарядке... Это вообще чудо, что он уцелел... А то, что он был священником, я узнал уже взрослым, после института. Мама рассказала незадолго до смерти...

– Значит, по правде я Рафаилов? – сказал Кинтель. Задумчиво и слегка тревожно. Потому что «тени забытых предков» словно толпились в сумраке и чего-то ждали.

– Нет, брат, ты все-таки Рафалов. Как и я. Так уж нам с тобой предписала судьба... Да, по правде говоря, и не стоило держаться за «Рафаилова». Недаром еще мой дед букву изменил.

– А почему?!

– А ты никогда не слышал о фрегате «Рафаил»?

– Не-а...

– История эта совсем не героическая и для русского флота печальная... А о бригае «Меркурий» слышал?

– Конечно! Ты же сам в том году мне книжку подарил, «Корабли-герои»...

– Ну вот... Бой «Меркурия» с двумя турецкими кораблями, славный и победный, был четырнадцатого мая 1829 года, про него много написано. А двумя днями раньше случилось дело совсем иного рода: турецкому флоту без боя сдался наш фрегат «Рафаил»... Про это написано гораздо меньше, хотя есть какой-то материал...

– Как это... сдался? – со стыдливим чувством спросил Кинтель. И с обидой. Слово его самого кто-то обвинил в малодушии.

– Ну, как... Был этот «Рафаил» в одиночном плавании, догонял несколько наших малых судов, чтобы по приказу адмирала Грейга взять над ними командование. Только своих не догнал, а однажды утром увидел на горизонте турецкие суда. Полтора десятка. В том числе шесть линейных кораблей. Это было неожиданно, русские думали, что неприятельский флот отстаивается в Босфоре... Командовал «Рафаилом» Семен Михайлович Стройников, капитан второго ранга. Он, конечно, принял решение уходить от противника. И ушел бы при хорошем ветре, потому что фрегат был новый, быстроходный, только год назад его спустили с верфи в Севастополе. Правда, успел он побывать в боевых переделках и в ремонте, но и после того ход сохранил быстрый. Но на беду, ветер стал стихать. Тяжелые турецкие корабли на попутной зыби получили преимущество хода и к середине дня взяли «Рафаил» в кольцо. С военной точки зрения дело для русских было совершенно безнадежное. Стройников приказал спустить флаг. На фрегат высадился десант, офицеры отдали сабли...

– Значит, Стройников струсил? – сказал Кинтель, преодолевая вязкую неловкость.

– Непонятная это история, – вздохнул дед. – Стройников был, безусловно, смелым офицером. Кавалер нескольких орденов, в том числе и Георгия четвертой степени, который давался за мужество в бою... Кстати, таким же орденом потом был награжден капитан-лейтенант Казарский за свой знаменитый бой «Меркурия» с «Реал-беем» и «Селением»... И вот еще совпадение: совсем недавно Стройников командовал тем самым «Меркурием», на нем-то и орден заслужил, и чин капитана второго ранга, после чего пошел, как говорится, на повышение,

стал командиром фрегата... Видишь, он был далеко не трус, в сражениях участвовал не раз и, конечно, как любой бывалый офицер, готов был к тому, что жизнь свою закончит от пули или ядра...

– Тогда почему же...

– Вот именно – почему?... Может, надлом души случился, когда увидел, как со всех сторон придвинулись эти громады. Некоторые размером аж с нашего «Кутузова», орудийные люки в два-три этажа, мачты до небес... Может, показалось: сама судьба так велит, не противься, мол, воле Божьей... А может, просто поразила вся бессмысленность такой гибели...

– А в самом деле, – стыдливо заступился за капитана Стройникова Кинтель. – Что он мог сделать?

Дед снова то ли вздохнул, то ли усмехнулся:

– Ну... то, что Морской устав требовал. Тот, который еще Петр Великий сочинил. Флаг не спускать, биться до последнего и погибнуть с честью... Потому что честь флота и флага Российского жизни дороже... Кстати, в рапорте царю, посланном из плена, Стройников писал, что сперва офицерами так и было решено: сражаться до последней крайности, а потом сцепиться с каким-нибудь вражеским кораблем и взорваться вместе с ним. Но матросы вроде бы заявили, что не пойдут на это...

– Правда заявили так?

– Кто знает... А Иван Гаврилов, предок наш, прозванный Рафаиловым, утверждал потом, что Стройников пожалел людей, поступил по-божески, не дав погибнуть в огне матросам, коих было на «Рафаиле» более двухсот... Однако сын его Петр, который стал торговцем, с этим был, видать, не согласен. Потому и фамилию поменял: не хотел сомнительной славы. Так мне кажется...

Кинтелю было жаль Стройникова. И в то же время ощущал он какую-то сдавленность, будто есть в бесславии «Рафаила» и его, Даньки Рафалова, частичка вины. Хорошо, что в каюте было темно. В этой темноте Кинтель хмуро спросил:

– А что это за плен такой, из которого можно своему царю рапорты посылать?

– Обычное дело. Война ведь была не та, что в наши времена, выполнялись международные правила. Даже турки, несмотря на свой янычарский нрав, были вынуждены соблюдать воинский этикет в обращении с пленными. По крайней мере, с офицерами. Дали им возможность отправить письма через нейтральное посольство...

– А потом что с ними было? С пленными...

– Война кончилась, вернулись в Россию. С матросов какой спрос, а офицеров отдали под суд. И суд этот, во главе с адмиралом Грейгом, всех приговорил к смертной казни. Ну, тогда это в обычае было: сперва смертный приговор, а потом император милосердно смягчает его. И Николай Первый приказал разжаловать осужденных в матросы. Говорят, дворянства их лишил. По крайней мере, Стройникова. А в одной старой книге я читал даже, что царь запретил Стройникову до конца дней жениться. Это для того, мол, чтобы «не плодить потомство трусов»... Его величество весьма щепетилен был в вопросах воинской чести. Он даже такой приказ отдал: если в каком-нибудь сражении русские отобьют «Рафаил» обратно, фрегат этот в наш флот больше не зачислять, а сжечь, потому что он опозорил андреевский флаг... Его и правда сожгли, через двадцать с лишним лет, в Синопской бухте. Нахимов тогда уничтожил там всю турецкую эскадру. А «Рафаил» в ту пору назывался «Фазли-Аллах», то есть «Подарок Аллаха», и был обветшалый уже...

– Толич, а из матросов можно было выслужиться обратно в офицеры? – Кинтель будто искал спасительную лазейку для Стройникова. Потому что страшно же так: умереть с несмытым пятном.

– Выслужиться? Это когда как... Стройникова, по-моему, разжаловали без выслуги. Тянул он матросскую лямку на Белом море, а что с ним потом стало, не знаю... А до своей

службы в нижних чинах Стройникова еще провел три года арестантом в Бобруйской крепости. В той же крепости побывал и кое-кто из декабристов, я читал их воспоминания, что условия там были каторжные...

Кинтель подумал, что каторжные условия были, наверно, не самым страшным наказанием для капитана Стройникова. Страшнее было все годы чувствовать себя изменником и знать, что никак это теперь не исправить.

Он попытался представить себя на месте Стройникова. Приказал бы он спустить флаг?.. Конечно, это жутко – знать, что вот-вот тебя искрошат залпами из орудий, сожгут, разнесут на клочки. Но если ты боевой офицер... и если всю жизнь знал, что возможен такой конец... К тому же смерть – это лишь один миг... А кроме того, был капитан второго ранга Стройников наверняка православным христианином. А верующие люди знают, что душа не умирает, ее ожидает жизнь вечная.

Кинтель тоже считал, что душа бессмертна. Только было тут много неясностей. Или она после смерти тела навсегда поселяется где-то в космосе, или переходит в другого человека? Скорее всего, переходит. Иначе отчего снятся иногда сны, будто ты вовсе не Данька Рафалов, а кто-то совсем другой, в незнакомом городе, в старинные времена? Это, наверно, память о прошлой жизни.

Теплоход шел ровно, лишь иногда чуть подрагивал корпусом. Кинтель попытался представить, что над «Кутузовым» громадные мачты и темные паруса, которые неспешно двигает ровный ветер. Но тогда получилось, что это уже не «Кутузов», а фрегат «Рафаил» в ночь перед сдачей в плен. Кинтель не хотел такого. И стал думать о другом. О трубаче, который стоит на каменной стене и готовится заиграть сигнал. Но песня про трубача вспомнилась словами, в которых был упрек:

Наш трубач ни за что  
Не сыграет отбой...

А фрегат «Рафаил» с предком Кинтеля сыграл отбой...

Дед уже посапывал – явно во сне. Кинтель повернулся на бок, прогнал все мысли и после этого стал сердито засыпать без всяких сновидений...

## СОСТЯЗАНИЕ

Завтрак дед и Кинтель проспали. Наскоро перекусили в буфете и еле успели на автобус, который от маленькой пристани повез туристическую группу в Кирилло-Белозерский монастырь.

День был теплее прежних, проблескивало солнце. Дед подремывал, Кинтель глазел на окрестности. О ночной беседе они с дедом не вспоминали. У них и раньше так бывало: вечером разговаривают о всяких «философских» вопросах, а утром Толич – серьезный, деловитый, молчаливый. Мне, мол, не до болтовни, масса важных дел. Но Кинтель понимал, что дед просто стесняется откровенности, которая случилась накануне. Может быть, даже ругает себя за излишнее многословие. Ну и ладно, Кинтель в такие минуты к нему не приставал.

Порой Кинтель ощущал себя взрослее деда. По крайней мере, в кое-каких житейских вопросах. Конечно, Виктор Анатольевич занимался ответственной работой: ведал кадрами в главной областной больнице и ее отделениях. Его хорошо знали в облисполкоме, иногда он печатал в «Краснодзержинском знамени» свои статьи про безобразия, которые случаются в областном здравоохранении по вине местных чиновников. Те делали ему в отместку всякие гадости, но всерьез уязвить не могли, был у деда орден «Знак Почета», две медали, благородная седоватая прическа, довольно стройная (несмотря на животик) осанка и строгое интеллигентное лицо. Особенно когда Виктор Анатольевич водружал на переносицу больше блестящие очки. Но Кинтеля-то эти внешние признаки солидности обмануть не могли.

Дед, как мальчишка, обожал фильмы про пиратов и мушкетеров, любил бродить по городу, по самым закоулкам, открывая для себя всякие любопытные мелочи. Мог несколько дней подряд (особенно когда стал вдовцом) питаться всухомятку, потому что лень готовить. Мог истратить последние деньги на альбом художника Сальвадора Дали, на редкие значки для своей коллекции, про которую вспоминал время от времени.

Собирал дед значки с гербами городов. Кинтель этого увлечения не понимал. Страсть к коллекционерству была ему чужда. Редкой вещицей можно, конечно, полюбоваться, но обмирать о ней, желать, чтобы она была обязательно твоя, – какой смысл? Впрочем, это не мешало Кинтелю выпросить у деда значок со старинным гербом Преображенска. На гербе три золотые рыбы в голубых струях реки, а сверху одномачтовый кораблик с длинным вымпелом – «в знак рыбного изобилия, а также того, что с пристани на реке Сож начинается плавание по рекам всего края». Но значок нужен был не ради собирательства, а чтобы малость похвалиться перед Алкой Барановой...

Не одобрял Кинтель и чрезмерной дедовой страсти к хоккею. Взрослый человек, а подсакивает на стуле перед экраном и вопит, как пацан, когда «Спартак» вляпывает противнику шайбу... Впрочем, на этом деле многие мужики слегка сдвинуты по фазе...

Было, однако, у деда с Кинтелем и много общего. И прежде всего – отвращение ко всякой зависимости, принуждению и унижению. Кинтель и уроки-то старался учить аккуратно не из-за какой-то там любви к знаниям, а чтобы не топтаться у доски и не мямлить под ехидным учительским взглядом. А дед, например, не желал покупать машину, хотя денег мог бы наскрести. Говорил: «Это чтобы любой взяточник в погонах и с полосатой палкой мог меня останавливать на улице и всячески надо мной измываться? Дудки!» По той же причине он отказывался ездить за границу. «Пока оформишь все документы и визы, пока настоишься в очереди, чтобы обменять валюту, инфаркт заработаешь. Всякий проходимец на конторской должности смотрит на тебя, как на вошь в томатном соусе, хмыкает и размышляет: поставить печать или помуржиться еще? В молодости я за кордоном кой-чего повидал, а теперь не соскучусь и в своей провинции...»

Почему «вошь в томатном соусе», было непонятно, однако общую позицию деда Кинтель одобрял. «Проходимцев», которые засели среди всякого начальства, он тоже не жаловал...

Кирилло-Белозерский монастырь поразил Кинтеля. Гораздо больше, чем Кремль в Москве. Башни и зубчатые стены Кремля были знакомы по картинкам, по ежедневной передаче «Время», в них чудилось что-то официальное, связанное с неласковой государственной властью. А здесь стояла первозданная былинная крепость без всякой парадности, с замшелостью камней, с кустиками в бойницах. С нерастроченной мощью веков.

Внутри крепости оказалась целая страна. Как в «Сказке о царе Салтане». Всюду поднимались купола, колокольни, башенки с маковками, манили к себе какие-то арки, переходы, запутанные дорожки. И лежала на всем этом тихая солнечная ласковость.

Они с дедом отстали от группы, ходили сами по себе. Толич то подолгу молчал, то шумным шепотом начинал восхищаться и приглашал Кинтеля разделить этот восторг. Кинтель кивал молча. К чему тут слова?

В широком арочном проходе, где на облупившейся штукатурке виднелись сверху неясные фрески, дед задержался. Постоял, подняв голову. Сквозь пятна, блеклость и паутинную серость проступал на своде образ Божьей Матери с маленьким Иисусом на руках. Были у Богородицы большие печальные глаза. Мальчик, подняв серьезное лицо, прижимался к матери щекой и словно хотел прошептать ей что-то очень-очень важное...

Дед постоял с поднятой головой и перекрестился двумя легкими взмахами. Потом быстро и виновато оглянулся на Кинтеля. Тот сделал вид, что ничего не заметил.

Он знал, что дед верующий, тот и не скрывал этого от внука. Пару раз они даже рассуждали о религии, о Боге и о бессмертии. Кинтель, наверно, тоже был верующий. По крайней мере, он считал, что Создатель, который сотворил Вселенную, где-то есть. Какая-то огромная энергетическая сила, наделенная всеобщим сверхразумом. Кинтель уважал этого Создателя, но думал, что молиться ему бесполезно. Разум, управляющий бесконечным Космосом, разве мог отрешиться от своих вселенских дел, чтобы заняться крошечным человечком на какой-то окраинной планетке?

Кинтель как-то в минуту вечерней откровенности поделился этими соображениями с дедом. Толич сказал, что такая «философская концепция» не нова и достаточно примитивна. «Ты, Даниил, еще просто не дорос до истины, что Бог настолько велик, что он в каждом человеке и что человек, если он хочет познать Бога, должен стремиться к нему душой...»

– Чего же к нему стремиться, если он и так в каждом человеке? – поддел Толича Кинтель, хотя главную мысль деда, кажется, уловил.

– Тьфу на тебя, – сказал дед. – Рассуждения твои плоские, как противень... Ты бы хоть Евангелие почитал, вон в журнале «Литературная учеба» новый перевод.

– А я читал... Только я все равно ведь некрещеный...

– Разве дело в обряде? – вздохнул дед.

При внуке Толич никогда не молился, в церковь он тоже не ходил. Может, боялся, что ему, члену партии, за это попадет, а может, и правда считал, что дело не в обрядах... А тут, в монастыре, что-то, видать, шевельнулось у него в душе...

Кинтель еще раз посмотрел на фреску. И вдруг вспомнил, как мама Сани Денисова поправляет на сыне воротничок и ласково лохматит ему волосы. Взлохматит и тут же приглашает...

И вот ведь правду говорят: легок на помине. Буквально через полминуты Кинтель увидел Салазкина.

Арочный проход вывел их на широкий двор, опоясанный крепостной стеной с галереей. Поле это, густо усыпанное звездами одуванчиков, было почти пустое. Только в центре его поднималась ветряная мельница. Видать, ее привезли сюда из какой-то деревни – как экспонат. Кучки туристов затерялись в этом травянистом просторе. Недалеко от мельницы лежал шта-



бель бревен: наверно, для ремонта. Одно тонкое и длинное бревно нижним концом уходило в траву, а верхним лежало на краю штабеля. И вот по этому-то наклонному бревну шел, балансируя, Саня Денисов. Салазкин. Он был похож на циркового гимнаста.

Штабель высотой был метра два. Салазкин уже почти достиг верха. А у бревна – вполне объяснимо, хотя и смешно – как взволнованная курица, беспокоилась мама:

– Ты куда? Шею свернешь! Спускайся немедленно!.. Ай, осторожно!.. Вниз, кому я сказала!.. Ну подожди, спустись только!

Несколько дам из той же группы квохтали и качали головами. Отца не было видно. Салазкин достиг верха и остановился там – маленький, гибкий, с упертой в бок рукой и вскинутой головой. Будто нарисованный чернилами на фоне освещенной солнцем стены.

– Ух, отсюда как здорово видно!

– Ай, не качайся! Спускайся, тебе говорят!..

Кинтель сыграл в мгновенную игру: присел, будто поправляет шнурок на кроссовке – так, что на линии взгляда верхний край штабеля совпал с гребнем крепостной стены и Салазкин оказался как бы на этой стене. Маленький трубач над крепостью. Правда, не было трубы, но Кинтель представил ее зримо со вспышкой солнца на серебряном ободке...

– Александр! Ты смерти моей хочешь?

Салазкин сел на корточки, помедлил секунду и скакнул с высоты в траву. Ай да мамин ребенок!

Мать ухватила его за свитер, убедилась, что чадо невредимо, дала ему шлепка.

– Изверг! Отцу скажу... Колготки порвал на колене, чучело... Куда ты опять?!

Салазкин взбрыкнул тонкими черными ногами, ускорился в сторону. Закрутился, обирая с темно-синего свитера травяной мусор.

Далеко, за воротами монастыря засигналил автобус: пора...

В середине дня, когда вошли в Белое озеро, по радио было объявлено, что организуется экскурсия в ходовую рубку. Записывайтесь в группы, товарищи... Дед сказал:

– Не бывал я в этих рубках, что ли?.. Я буду письмо писать. А ты иди.

Кинтель оказался в одной группе с Денисовыми. Его и Салазкина взрослые пропустили вперед – детям заботу и внимание (всегда бы так!).

Квадратные, с закругленными углами окна образовывали в рубке сплошную прозрачную стену. Под ними тянулся широкий пульт – кнопки, телефоны, дисплеи, циферблаты, карты – в глазах замельтешило. Увидел Кинтель и знакомую по снимкам и кино стойку магнитного компаса – нактоуз. Почти такую, как на старых кораблях... Молодой, но уже с залысинами, полноватый штурман – один из помощников капитана – давал объяснения. Вежливо, но с ленцой (видать, надоело). Говорил, что теплоход – один из самых крупных среди речных судов мира. Что может ходить и по морю, если высота волны не больше четырех метров. Что навигационное оборудование – самое современное.

– Для поворота вправо-влево стоит лишь нажать нужную кнопку. Видите, у нас нет здесь даже намека на привычное рулевое колесо, именуемое в просторечии штурвалом...

«Жаль, что нет», – подумал Кинтель.

– Скорость – до двадцати узлов... – с той же ленцой продолжал штурман. Массовик Кирилл Георгиевич, не забывавший занимать подопечных пассажиров, интригующим голосом задал вопрос:

– Кстати, кто скажет, что означает эта скорость – узел?

Кинтель хмыкнул про себя. Высовываться не хотелось. Какой-то дядька у него за спиной басовито провозгласил:

– Это, как я понимаю, одна морская миля в час...

– Абсолютно верно! – обрадовался Кирилл Георгиевич. – А кто скажет, велика ли она, эта миля?

– Что-то около двух километров, – отозвался дядька.

Кинтель не выдержал, сказал насупленно:

– Тысяча восемьсот пятьдесят два метра...

Тут оживился штурман:

– Точно! А откуда взялась эта некруглая величина?

Кинтель размышлял: говорить дальше или не стоит? Чего хорошего, когда все на тебя glareют?.. И в этот момент раздался голосок Салазкина:

– Минута географического меридиана...

С ума сойти! Откуда он знает про меридианы-то? Кинтель скосил взгляд. Папа Денисов что-то тихо говорил сыну. Подсказывал? Мама поправляла у сына широкий воротник свитера.

Тогда Кинтель сообщил, глядя сквозь стекла на открытый горизонт Белого озера (синий, в солнечных облаках):

– Деления минут откладываются на боковых краях штурманских карт. Чтобы легче было измерить расстояния... – Все-таки он был внук деда, который в молодости плавал на океанских судах. Да и читал про флотскую жизнь Данька Рафалов немало...

Штурман оживился еще больше:

– Тут, я смотрю, знатоки...

– Это меркаторские карты, – сообщил Салазкин. Такой вот восьмью или девятилетний пацаненок, где-то нахватывшийся морских познаний.

Кинтель не ощутил ни зависти, ни досады, но появился хмурый азарт. Кинтель выговорил:

– На этих картах прямоугольная сетка координат. Вот как тут, на пульте... – И не удержался, опять бросил взгляд на Салазкина.

Тот смотрел своими широкими глазами с веселым интересом. И словно бы с желанием познакомиться. Но Кинтель отвернулся.

– Прекрасно! – радовался Кирилл Георгиевич. – Сейчас не будем тратить порох, а скоро устроим конкурс морских знатоков. Я думаю, такие найдутся и в других группах. Победителю – приз...

Состязание устроили через два дня, накануне прихода в Ленинград. Опять было зябко и пасмурно. Ладога катила под низким небом плоские зеленоватые валы. Слева тянулся еле заметный низкий берег, справа и впереди был открытый горизонт. Чуть покачивало. В салоне уютно светились лампы.

Дед был почему-то не в духе и в салон не пошел. А Кинтель пошел. Народу оказалось немного, хотя трижды объявляли по радио. Человек десять взрослых и столько же ребят.

Кирилл Георгиевич вышел к пианино, словно к трибуне. И бодрым голосом выразил надежду, что здесь собрались знатоки морской истории и флотских премудростей. Сказал еще раз о призе, ожидающем победителя. Спросил, есть ли желающие позаседать в жюри. Нашлось двое: чья-то мама (судя по всему, активистка родительских собраний) и подвижный старичок с богатейшим набором орденских ленточек на пиджаке (может, бывший моряк?).

– Ну а третьим буду я! – весело решил Кирилл Георгиевич. И для начала задал вопрос: кто из русских моряков первым обошел вокруг света?

Сразу вскинули руки трое: полная девушка с желтыми волосами, худой парнишка с прыщиками на носу (кажется, Костя) и Салазкин. Кинтель задавил в себе стеснительное сопротивление и тоже поднял ладонь.

Первой Кирилл Георгиевич вызвал девуцу. Та уверенно сообщила, что упомянутых выше мореплавателей звали Лазарев и Беллинсгаузен. Салазкин выдал короткий звонкий смешок. Мама, сидевшая рядом, дернула его за свитер. Кирилл Георгиевич с вежливой улыбкой развел руками: неверно, мол.

– Теперь ты, мальчик...

Кинтель неловко встал. Сказал, глядя на горизонт:

– Крузенштерн и Лисянский...

– Совершенно верно! Кто-нибудь хочет что-то добавить?

Салазкин вскочил:

– На шлюпах «Надежда» и «Нева»!

– Чудесно!.. А у тебя тоже дополнение?

Костя с прыщиками снисходительно объяснил, что экспедиция началась в 1803 году и закончилась в 1806-м. Считать же первым русским кругосветным мореплавателем справедливо будет Лисянского, поскольку он опередил Крузенштерна на две недели.

«Образованный», – сердито подумал Кинтель и добавил:

– После того как они расстались на траверзе мыса Доброй Надежды... – Он нарочно ввернул это «на траверзе».

– Там был туман, и они потеряли друг друга, – сказал Салазкин.

Все заплодировали. А Кирилл Георгиевич, пошептавшись с мамой-активисткой и ветераном, объявил, что Саня Денисов, Костя Бельский и («Мальчик, как тебя зовут?..») Даня Рафалов получают по пять очков.

– А Лазарев и Беллинсгаузен открыли Антарктиду, – неожиданно для себя сказал Кинтель.

– Bravo! – обрадовался Кирилл Георгиевич.

– На шлюпах «Восток» и «Мирный», – ввинтился звонким голосом Салазкин.

– Это было в 1820 году, – спокойно, почти с зевком уточнил Костя. – Впрочем, за рубежом не все ученые признают приоритет Беллинсгаузена и Лазарева в открытии шестой части света.

– Великолепно! У вас еще по два очка! – радовался Кирилл Георгиевич. А оскандалившаяся девица розовела и хихикала в ладошки. – Итак, три человека проявили недюжинные познания в истории морских путешествий! А сейчас задачка из другой области. Кто скажет, что такое «рангоут»?

– Это... насколько я понимаю, нечто связанное с теорией судна, – без прежней уверенности проговорил Костя Бельский.

«Нечто», – хмыкнул про себя Кинтель. И почти перестал стесняться:

– Это все мачты, реи. На чем ставят паруса... Да, еще бушприт...

– У бушприта есть два продолжения: утлегарь и бом-утлегарь, – прозвенел Салазкин.

Кинтель глянул на него искоса. И вспомнил:

– Рангоут поддерживает и управляется такелажем. Стоячим и бегучим. Это всякие тросы и канаты...

– Рангоут бывает подвижным и неподвижным, – уверенно сообщил Салазкин. – Подвижный – тот, что ходит вместе с парусами. Реи, гафели, гики...

Что-то запрыгало в памяти у Кинтеля: кажется, из словаря в конце книжки «Жизнь моряка».

– Они крепятся к мачтам на бейфутах. На таких специальных шарнирах...

Все неожиданно притихли при этом словесном турнире. Салазкин отодвинул от мамы локоть, за который она машинально его теребила. Сказал на весь салон:

– Ну не дергай, пожалуйста. Подумают, что ты подсказываешь... – Никто не успел засмеяться. Потому что сразу Салазкин сообщил: – Сейчас рангоут делают металлический, из труб. А раньше делали из деревьев, из прямых стволов. Потому он так и называется – «круглое дерево» в переводе на русский.

– Это с голландского, – быстро подключился Кинтель. Он теперь все больше ощущал волнующую дрожь состязания. – Потому что Петр Первый учился строить корабли в Голландии. Он там многое перенял...

– Уникальные дети! – восхитился Кирилл Георгиевич. И глянул на Костю.

Тот развел руками:

– Я – пас... Здесь специалисты.

Кирилл Георгиевич обрадованно заметил, что, судя по всему, никто больше не решается вступать в этот поединок морских эрудитов. Таким образом, выявились два лидера.

– Попросим вас вот сюда, рядом со мной, чтобы вы могли демонстрировать свои знания перед лицом всей аудитории.

Кинтелю не хотелось «перед лицом аудитории». Но делать нечего, тем более что Салазкин уже уверенно покачивался на своих тонких ножках рядом с пианино. Словно опять собрался петь. Кинтель стал у другого края инструмента, прислонился локтем. Опять стал смотреть над головами сквозь стекла. Ну прямо правдашнее море...

– Итак, два претендента на приз! Саня Денисов из Краснодзержинска и Даня Рафалов... откуда?

– Тоже... – буркнул Кинтель. И поймал взгляд Салазкина. Удивленно-обрадованный.

– Тоже из Краснодзержинска?! – возликовал Кирилл Георгиевич. – Изумительно! Однако у вас, кажется, совсем не морской город?

– У нас озеро есть большое. Называется Орлов-ское, – разъяснил Салазкин. – И на нем яхты...

– И на гербе кораблик, – нахмуренно добавил Кинтель, словно заступаясь за свой город. – Раньше по реке Сож корабли до самого моря ходили...

– Тогда ясно!.. Значит, продолжаем? А все остальные будут болеть...

Кинтель понимал, что болеть будут за Салазкина: он младше, симпатичнее, держится раскованно. Такие всегда нравятся. Будь Кинтель среди зрителей, он тоже сочувствовал бы этому пацаненку с зелеными глазами и доверчивой улыбкой, а не стриженному ежику, набыченному мальчишке, который смотрит мимо людей... Ну и пусть. Ни зависти, ни обиды у Кинтеля не было. Досадовать он мог бы на равного по силам и возрасту или на того, кто больше. А тут чего ж... Впрочем, уступать Кинтель не собирался.

И не уступал. Очки они с Салазкиным набирали поровну.

Вопросы были всякие. То с пустяковой хитростью: «Что такое бухта?» Кинтель и Салазкин разом ответили, что, во-первых, – небольшой залив, а во-вторых, – моток троса. То посложнее: «Откуда взялось в обозначении скорости судна понятие „узел“?» Кинтель вспомнил, что раньше узлами разбивали шнур на приборе для измерения скорости, на лаге. Салазкин рассказал в дополнение к этому, как устроен старинный лаг. Кинтель добавил, что сейчас лаги другие: механические, электронные...

Ну и так далее. Слушатели в салоне то затихали, то аплодировали. Надо сказать, что не только Сане Денисову... Очков набралось уже по полсотни на каждого.

– Ну и наконец, последний вопрос! На знание типов парусных кораблей... Чем бриг отличается от фрегата?

Это был пустяковый вопрос для всякого, кто внимательно читал книжки про моряков.

– У брига две мачты, – быстро сказал Кинтель. – А у фрегата три или даже больше. У того и у другого прямые паруса на всех мачтах. На реях...

Салазкин, конечно, не отстал. Смело поправил Кирилла Георгиевича: бриг, мол, неправильно называть кораблем, надо говорить «судно». Кораблями в парусном флоте называются только суда с оснасткой фрегат, то есть с полным корабельным парусным вооружением.

И вдруг добавил:

– А среди бригов самый знаменитый «Меркурий». Он дрался с двумя турецкими линейными кораблями и вышел победителем...

– Чудесно! – даже подскочил Кирилл Георгиевич. – Прекрасное дополнение. Действительно, бриг «Меркурий» совершил подвиг, доказав, что русские моряки ни при каких обстоятельствах не сдаются врагу!..

Кинтель даже качнулся вперед. Потому что вот тут-то можно было выложить факт о «Рафаиле». Как козырную карту! Нет, мол, товарищи, бывало, что сдавались. Не все такие герои, как на «Меркурии». Есть грустное отличие *фрегата* «Рафаил» от *брига* «Меркурий». Но... открыл Кинтель рот и захлопнул. Покачал головой. Словно встретился с живым взглядом измученного худого офицера в старинном мундире – капитана Стройникова: не надо, мне и так хватило позора... И предок Иван Гаврилов будто издали глянул укоризненно. Знание о чем-то стыде и несчастье – разве козырь?

Впрочем, обдумал это Кинтель уже потом, а пока его просто задержало внутреннее «нельзя». И еще – снова такое чувство, словно он тоже виноват в сдаче «Рафаила».

– У тебя, Даня, нет добавлений?.. Ну что же, тогда жюри посовещается и вынесет решение.

Кирилл Георгиевич нагнулся над сидящими рядом старичком с орденскими планками и мамой-активисткой. Какое будет решение, не стоило и гадать. В шаге от пианино висела широкая портьера. Пока все смотрели на жюри и на Салазкина – явно как на победителя, Кинтель придвинулся к портье спиной, скользнул за нее, а там – к двери. И оказался в коридоре, у ведущего на верхнюю палубу трапа.

## ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Наверху было ветрено, зябко, особенно после уютного салона. Ветер, однако, дул теперь с востока, с кормы, и Кинтель укрылся от него за трубой. Труба эта – громадная, скошенная назад, с голубой полосой, медным серпом и молотом и черными крыльями – поднималась над палубой, как дом. Впереди была привинчена скамейка, и Кинтель съезженно сел, подняв до ушей воротник школьной курточки.

Большого огорчения Кинтель не чувствовал. Если бы кто другой, не Саня Денисов, выиграл приз, тогда обидно. А Салазкин пусть порадуется вместе с мамой... Но была у Кинтеля печаль. Не из-за проигрыша даже, а так, без всякой причины. Однако горечи в печали не ощущалось. Даже наоборот – приятное что-то. Как при музыке, которую играла однажды на улице Первомайской девочка-скрипачка.

Когда Кинтелю было грустно без причины, он всегда вспоминал эту музыку. И девочку, которая от музыки была неотделима.

...Кинтель увидел маленькую скрипачку в последний день прошлого года августа, когда шагал на рынок за картошкой. Сперва он услышал музыку. У забора заброшенной стройки полукольцом стояли ребята и взрослые, человек пятнадцать. А на фоне темных и рваных афиш играла на скрипке девочка. Одного с Кинтелем возраста.

Она была тоненькая, курносая, с короткими и растрепанными, как у мальчишки, волосами. И с искорками-сережками в маленьких коричневых ушах. И очень загорелая. На ней была желтая майка и белые шортики. От этого девчонкины ноги казались еще больше загорелыми. Они были того же цвета, как скрипка, которую девочка прижимала к подбородку. Она покачивалась на ногах, как на стебельках, задумчиво смотрела мимо людей и водила смычком.

У ног девочки, в пыльных подорожниках, лежал скрипичный футляр, в откинутой крышке его белел бумажный лист. На нем крупно было написано: «Зарабатываю на скрипку».

Наверно, нынешняя скрипка у девочки была чужая. Или не очень хорошая. Но даже на ней девочка играла восхитительно. По крайней мере, Кинтеля печальная и светлая музыка взяла в плен сразу же. И сама девочка – тоже. Кинтель смотрел на юную скрипачку, и сердце у него заходило в сладкой тоске. Было что-то удивительно милое и знакомое, только полузабытое, в этой скрипичной мелодии и в том, кто ее играл, – в быстрых тонких пальцах, в дрожании волос и сережек, в задумчивых глазах и строгих бровях над облупленной переносицей, в подсохших корочках ссадин на коленках (в точности как у Кинтеля). И еще была в ней доверчивая незащищенность и одиночество, несмотря на окружавших людей.

Люди слушали внимательно, лишь изредка что-то шептали друг другу. В скрипичном футляре лежало уже немало мятых рублей и трешек.

У Кинтеля в кармане была лишь пятирублевка, которую дал дед и которую можно было тратить только на картошку. А будь у него свои деньги – хоть сто рублей! – он тут же выложил бы их в футляр, к ногам девочки. Хотя... посмел бы он? Все сразу начали бы глядеть на него. И она посмотрела бы – на неловкого, стриженного арестантским ежиком, в мятой, узлом на пузе завязанной рубашке... Он и так уже стоит здесь, наверно, полчаса, и все, конечно, догадались о его завороченности...

Кинтель попятился, чувствуя, как наливаются теплотой уши и щеки. И пошел, пошел, не решаясь оглянуться. И долго еще слышал скрипку...

Обратно он шагал по другой стороне улицы. Девочка все еще играла. И снова ту мелодию, которую Кинтель услышал вначале. Страдая от стыдливой боязливости, Кинтель все же подошел опять, постоял за спинами, страшась, что девочка увидит его... Потом побрел домой, унося в душе что-то теплое, щемящее, доселе неизвестное...

Днем Кинтель, не в силах носить в себе переживания, поделился на улице с компанией. Сказал небрежным тоном:

– Утром за картошкой поперся, гляжу: у забора пацанка со скрипкой. Так клево пилит по струнам. Все стоят, рты поразевали, тугрики ей бросают... И главное, одна, не боится...

– Ха, одна, – отозвался опытный Джула. – Ты ее попробуй задень, сразу со всех сторон амбалы выскочат! У них небось артель: она деньгу на всю кодлу зашибает, а они ей это... режим наибольшего благоприятства... Знаем мы таких девочек со скрипками...

Тут бы и врезать этому длинному трепачу по слюнявым губам. И Кинтель врезал бы, не думая, что будет после! Но только... Да нет, не за себя он испугался! Но ведь когда начнут издеваться, ехидничать про его любовь, эти поганые насмешки будут и про девочку! Конечно, она не узнает, но все равно получится, будто он подставил ее под помой. Это как предательство.

Ненавидя себя, Кинтель сплюнул и лениво сказал:

– Тебе, Джула, везде амбалы мерещатся. Только и знаешь про мафию чесать языком.

Все заспорили про мафию и о девочке забыли.

В следующие дни Кинтель не раз ходил на то самое место, к забору у стройки. Но девочки там не было. Оно и понятно: время-то началось школьное. А может быть, она уже насобираала на скрипку? Нет, наверняка она появится в воскресенье!

Подлое, непрошеное подозрение о том, что Джула насчет этой девчонки, возможно, прав, Кинтель буквально выжег в себе, без остатка. И решил ждать. Но воскресенье оказалось промозглым, пришла настоящая осень. Ясно, что при такой погоде размокла бы любая скрипка. Что было делать? Где искать маленькую скрипачку? Да и... зачем? Найдешь, увидишь, а что дальше?

И девочка со скрипкой осталась в памяти как что-то волшебное, полусон какой-то или сказка о Дюймовочке. И музыка осталась, запомнилась. Иногда Кинтель насвистывал или мурлыкал ее, и однажды это услышал дед.

– О, да у тебя слух как у музыканта!

– Почему? – застеснялся Кинтель.

– Такую мелодию ведешь без всякой фальши.

– А что за мелодия? – У Кинтеля, как тогда, при девочке, затеплели уши. – Я не знаю даже. Случайно вспомнилась...

– Это скрипичный романс Шостаковича из фильма «Овод».

...В минуты, когда подкрадывалось задумчивое настроение, печаль какая-нибудь, «Овод» начинал звучать в Кинтеле тихо, ненавязчиво, в лад со струнами души.

Вот и сейчас мелодия накатывала, как бегущие по Ладоге пологие волны, которые не спеша догонял и подминал под себя «Михаил Кутузов».

Но вскоре в эту музыку скрипки толкнулся другой мотив – тревожной непрошеной ноткой: «Над волнами нам плыть, по дорогам шагать... Штормовые рассветы встречать...» Это было связано с Салазкиным! И Кинтель интуитивно угадал, что Салазкин неподалеку. И лишь потом услышал шаги.

Салазкин встал рядом со скамейкой. Кинтель покосился. В руках Салазкина была плоская коробка с парусным кораблем на крышке.

До той минуты они друг с другом не разговаривали, но тут Салазкин сказал, будто давнему знакомому:

– Даня, ты почему ушел раньше срока?

Кинтель ответил ровно, даже с зевком, чтобы Салазкину не пришло в голову, будто он обижается или переживает:

– Почему раньше срока? Все ведь кончилось...

– А приз...

Кинтель снисходительно улыбнулся:

– Но не я же победил.

Салазкин сказал убедительно:

– По-моему, мы оба одинаково победили. Надо, чтобы справедливо... Давай делить. – Он сел на краю скамейки, положил коробку между собой и Кинтелем, поднял крышку. В коробке лежали фигурные шоколадные конфеты. – Тебе и мне пополам.

– Да ну... – смутился Кинтель.

– Нет уж, ты бери, пожалуйста! – Салазкин смотрел решительно.

«Хороший он человек», – подумал Кинтель. Взял конфету, сунул в рот.

– Нужно вот так! – Салазкин принялся перегружать половину шоколадного запаса в крышку.

– Постой! Мне не надо! – почти испугался Кинтель. – Я много шоколада никогда не ем... То есть не ел. Даже когда он в магазинах был. У меня от него... это, аллергия.

Аллергии у Кинтеля не бывало, но шоколад он правда не очень любил и не жалел, что теперь его не бывает в продаже. Потому что как можно помногу есть такую вязущую рот и горло горьковатую сладость! Это ведь не мороженое...

– Ну правда тебе говорю! – добавил он, глядя в недоверчивые глаза Салазкина. – Забирай обратно. – Пересыпал конфеты опять в коробку. И вдруг пришло в голову: – А крышку я возьму... если можно. Ладно?

– Конечно! – обрадовался Салазкин. Разумеется, не вернувшимся конфетам, а тому, что Даня Рафалов хоть что-то берет.

Кинтель сказал:

– Хороший корабль. Я его в рамку вставлю – и на стену...

– Это «Паллада». Видишь, здесь написано...

Внизу были буковки: "Шоколадное ассорти "Фрегат «Паллада».

«Фрегат», – опять царапнуло Кинтеля. Но он подавил в себе неприятные мысли.

Салазкин сел попрочнее: привалился к спинке, пятки поставил на скамью. Тоже сунул в рот конфету. Сказал доверчиво:

– А славно получилось, что мы из одного города, правда ведь?

Кинтель кивнул, облизываясь.

– Ты там где живешь?

Саня Денисов тоже облизал губы.

– На окраине, в Старосадском поселке. Но папе обещают скоро дать новую квартиру... Мама уже вещи понемногу упаковывает, она очень предусмотрительная...

Кинтеля вдруг дернуло за язык:

– Это мама посоветовала тебе поделиться конфетами?

И сразу испугался: обидится Салазкин!

Тот не обиделся, но удивленно раскрыл глаза:

– Нет, с чего ты взял? Я сам... Мама даже не знает, куда я пошел.

– Значит, будет искать и волноваться, – выкрутился Кинтель из неловкого положения. – Родители, они все такие.

– И у тебя? – с пониманием спросил Салазкин.

Кинтель вздохнул:

– Я, к счастью, с дедом...

Салазкин отвел глаза. Взял еще конфету. Стал ковырять на обтянутой черным трикотажем коленке аккуратную штопку. «Мама зашила», – подумал Кинтель. И усмехнулся:

– Но если бы я, как ты недавно, на бревна полез, он бы тоже бегал внизу и... – Кинтель чуть не сказал «кудахтал», – и нервничал.

Салазкин кивнул, все ковыряя штопку:



– Мама ужасно беспокойная. Стоит мне задержаться на улице, как дома паника... Но сейчас, пока она не хватилась, можно еще посидеть! – И повожился, устраиваясь поудобнее.

Посидели, помолчали. Пасмурная Ладога все катила, катила валы, реяли чайки. Нельзя сказать, что покачивало, но иногда все же возникало ощущение непрочности. Этакий намек на невесомость.

– Ну, право, совсем как на море, – вдруг сказал Салазкин.

Он все-таки расковырял штопку, и светилась круглая, словно двугривенный, дырка. Из нее выглядывала похожая на бородавку выпуклая родинка. Салазкин тер ее мизинцем, предварительно облизав его. «Опять заработаешь от матери шлепка», – подумал Кинтель. А вслух сказал:

– Я на море еще не бывал.

– А я был два раза. И могу авторитетно утверждать, что очень похоже... – Он, видимо, сам почуял, с какой забавной солидностью у него это прозвучало, и хихикнул.

Кинтель сказал:

– В морских делах ты прямо академик. Занимался в каком-то кружке, да?

– Видишь ли... это не совсем кружок... Это...

– Санки! Салазкин! Вот ты где... Ну что за мода исчезать бесследно, как привидение... – Мама Сани Денисова появилась из-за трубы. – Идем, скоро ужин!.. И какой здесь холод...

Салазкин встал. Сказал Кинтелю вполголоса:

– Мы ведь еще непременно увидимся.

– Разумеется. У нас две недели впереди, – в тон ему ответил Кинтель и опять улыбнулся про себя, но без насмешки, по-хорошему.

Мама Салазкина тревожилась:

– Вы оба, наверно, простудились. Мальчик, тебе не холодно?

– Это Даня Рафалов, с которым мы там, вместе... – ревниво сказал Салазкин.

– Да-да, я вижу. Даня, вы оба продрогли.

– Я сию минуту тоже иду в каюту, – отозвался Кинтель, как покладистый скромный мальчик.

Так и пошли: впереди мама, за ней Салазкин с открытой коробкой, как с подносом, сзади Кинтель, он шагал и хлопал себя «Палладой» по джинсовым штанинам.

В каюте дед сказал:

– Тут тебе приз принесли. Говорят, ты второе место занял в этом «Клубе знаменитых капитанов».

Приз оказался набором вымпелов с гербами городов, где побывали и еще должны были побывать пассажиры «Кутузова». Что ж, совсем не плохо! Даже лучше конфет...

– А чемпион мне вот что подарил, – похвастался Кинтель крышкой. – От своего ассорти.

– Красивая штука, – одобрил дед. – А про «Палладу» ты что-нибудь слышал?

– Книжка такая есть. Только скучная очень. Я начинал...

– Эх ты, «скучная»... «Паллада» – корабль знаменитый. Кстати, в молодости им одно время Нахимов командовал, будущий адмирал... – И Толич вдруг осекся. Сообразил, что не надо бы лишний раз о Нахимове.

Кинтель, однако, сделал вид, что ничего не заметил. Стал рассматривать разложенные на постели вымпелы. Потом глянул в окно. У горизонта облака разошлись, в щель пробился солнечный огонь. Похоже на закат, хотя по времени до заката было далеко: лето, север, белые ночи...

«Бьется пламя под крыльями туч...»

Когда они познакомятся поближе, надо будет спросить у Салазкина, откуда эта песня... Как не вовремя появилась его мамаша: даже не успел он объяснить, где набрался морских знаний. Ну ничего, все впереди. Конечно, Салазкин – еще малец, и при нем чувствуешь себя

как рядом с чем-то хрупким. Но есть в нем и... такое, совсем не детское. По крайней мере, ясно, поговорить с ним можно о вещах, которые с «достоевской» компанией обсуждать бесполезно...

Дед озабоченно глянул на часы:

– На ужин пора. И надо лечь пораньше, завтра в пять утра будем входить в Неву. Не проспять бы Шлиссельбург...

Шлиссельбург они проспали. Впрочем, не беда, увидят на обратном пути. В полдень подошли к речному вокзалу Ленинграда. От экскурсий с группами Толич и Кинтель отказались, решили гулять сами. И за два дня стоянки повидали столько, что ни с какими экскурсоводами такого не успели бы. Прежде всего поехали к морскому вокзалу. Туда, где швартуются приходящие со всех морей и океанов теплоходы и где виден открытый горизонт залива. Потом отправились на пассажирском катере в Петергоф – еще ближе к морю. Правда, залив (именуемый, как известно, Маркизовой лужей) был более серым и спокойным, чем Ладога. Но само сознание, что это Балтика, волновало душу Кинтеля.

А потом были, конечно, музеи. Петропавловская крепость, долгое хождение по многим улицам, площадям, набережным. Но Кинтель нет-нет да и вспоминал Салазкина. Однако в эти дни он его не видел – ни на улицах, ни вечером на теплоходе. Впрочем, это Кинтеля мало тревожило. Но зато он забеспокоился всерьез, когда отошли от ленинградского причала, а Денисовых по-прежнему нигде не было видно. Ни в ресторане, за ужином, ни в коридоре, ни на палубах...

И утром – то же самое. После завтрака Кинтель не выдержал, набрался смелости и постучал в дверь денисовской каюты. Никто не отозвался. Кинтель наконец поделился тревогой с дедом: куда, мол, девался мой соперник по морскому турниру? Виктор Анатольевич навел справки. Обещали догнать «Кутузова» в Петрозаводске. Кинтель слегка успокоился.

Но в Петрозаводске Денисовы не появились. То ли что-то случилось, то ли решили путешествовать другим путем. Тем более, что чемоданы они предусмотрительно прихватили с собой.

Кинтель запечалился, но путешествие было такое, что для долгой грусти не оставалось времени. Столько всего каждый день: Валаам, Кижы, потом всякие города... Дома Кинтелю долго еще снились высокие берега, медленные великанские ворота и осклизлый бетон шлюзов, монастыри и крепости, не отстающие от теплохода чайки и стоящие над широкой водой печальные колокольни затопленных церквей...

Кинтель даже стал думать, что неплохо бы так жить всегда. Вроде бы в доме, под крышей и в то же время – в постоянном путешествии. Только надо, чтобы судно было не таким громадным. Пускай вроде того древнего колесного парохода, который Кинтель видел у какого-то заброшенного причала. Был бы неторопливый, но уютный, добрый такой кораблик. И чтобы подобрался на нем хорошие люди – и взрослые, и ребята. Разные, но все такие, кто никогда не обижает друг друга и от кого не слышишь: «Ну чё, блин, пасть разинул, будто форточку, шевели ходулями» (это если, например, зазевался в проходе у школьной раздевалки) – и при которых не надо все время держать себя готовым к отпору.

Взять бы на пароход ту девочку со скрипкой. Салазкина. Деда. Регишку... Набрать бы дружный экипаж – и в путь. Пусть шлепает колесами по всем рекам и озерам пароход под названием «Трубач». И не обязательно просто так плавать, можно делом заняться, грузы возить!

Этот пароход тоже иногда снился Кинтелю.

Салазкина Кинтель вспоминал, но ни разу не встретил. Город-то вон какой громадный. Старосадский поселок у черта на рогах... Сделать рамку для «Паллады» Кинтель так и не собрался. Сунул карточку на полку, между книг.

## РАРИТЕТ

Саня Денисов не очень испугался, когда четверо прижали его к забору. Правда, ощутилось в коленках мелкое дрожание, но не от боязни, а так, «нервное», как говорит мама, когда у нее дрожит в пальцах кисточка. Приходилось попадать в такие переплеты и раньше: и у себя в Старосадском, и в других местах. Порой крепко доставалось, но случалось и отмахаться, уйти «не посрамивши флага» (как бриг «Меркурий»).

Можно было это и сейчас. Вон того, небольшого, кинуть через бедро налево, толстому стукнуть головой под дых – и давай Бог ноги! Но потом уже – ясное дело – по этой улице не пройдешь в одиночку. Конечно, если сказать про такое на Калужской, Корнеич тут же наладит «комиссию для разбора». И комиссия разберется, будьте уверены. Только надолго ли? Эти ведь, очухавшись, захотят реванша. И пойдет – око за око. Как в Южной Осетии...

Вот такие мысли и прыгали в Саниной голове, когда судьба послала ему спасителя. Именно судьба! Счастливая! Почти что чудо! Потому что ведь не просто хороший человек появился в решительный миг, а Даня Рафалов! Тот самый! О котором Саня так много вспоминал после прошлогоднего плавания...

Правда, вот огорчение: Даня Рафалов не помнил его!

Но, с другой стороны, если заступился за незнакомого, значит, и правда человек замечательный! И к тому же почти сразу Даня вспомнил. Заулыбался:

– Салазкин!

– Да! – радостно сказал Саня. Но тут же счел нужным объяснить: – Это в том году мама придумала... временное такое прозвище. Теперь уже забылось... Но ты зови Салазкиным, если хочешь! Раз тебе так запомнилось...

Даня Рафалов сказал с веселой сердитостью на себя:

– У меня дурацкая такая память. Бывает, что вижу – человек знакомый, а где встречались, вспомнить не могу. И вот с тобой тоже... Да ты и вырос с той поры...

– Да, изрядно, – охотно согласился Саня. – Там, на «Кутузове», я был тебе до плеча, а сейчас до уха. А ты ведь тоже рос все это время, правильно?

– Наверно... – вздохнул Даня Рафалов. Словно вспомнил что-то не очень веселое. Но тут же оживился: – Слушай! А куда вы тогда подевались с теплохода?

– Ой, это такая история... – Саня засмеялся от удовольствия, что сейчас эту историю можно рассказать Дане Рафалову. Так же весело и с «детальями», как любил ее рассказывать папа, когда приходили гости. И Дане, наверно, будет интересно. Вот он и шаги замедлил... – Это такая история!.. У меня родители не могут равнодушно пройти мимо магазинов. Мама – мимо промтоварных (несмотря на то, что в них сейчас шаром покати), а папа – мимо книжных... В Ленинграде мы, конечно, отстали от группы...

– Как и мы, – вставил Даня Рафалов.

– Да? Ну вот видишь, похоже... И началось «посещение торговых точек». То «маминых», то «папиных». У мамы – полная сумка кисточек и красок для своей работы, у папы – книжки под мышками, только я один – без всякого интереса от такой жизни. Наконец я сажусь на асфальт (ну не совсем на асфальт, а на ступеньку какого-то крыльца) и говорю: «Все! Или мы немедленно идем в Морской музей, или я на три дня объявляю голодовку». Три дня я выдерживаю. А мама – когда смотрит на меня голодного – только день. Так что этот прием безотказный... Ну вот и пошли. Знаешь, Морской музей – это бывшая биржа. На стрелке Васильевского острова.

– Мы с дедом были.

– Ну тогда ты, наверно, помнишь: там в большом зале, слева от входа витрина с вещами Петра Первого...

– Нет, я не помню. Я как вошел – сразу к моделям! Ну, к тем громадным, что посреди зала.

– А-а... Мы не так. Папа любит, чтобы все по порядку, он же историк... Ну и вот, он вдруг замер у этой витрины. Где царский камзол, ботфорты и всякое другое, что Петру принадлежало... Но он не из-за этих вещей, а из-за книг... Вообще-то папа специалист по древней истории и по средневековью, но редкие книги собирает про все эпохи, это у него страсть... И вот он тут дышать перестал. Мама говорит: «У тебя что, столбняк?» А он шепотом, прямо как в приключенческом фильме: «*Это она ...*» – «*Что она ?*» – «Он...» – «Что он?» – «Морской устав» Петра Великого... Мама уже нервничать стала. «Ты что, – говорит, – хочешь разбить витрину и похитить книгу?» А папа: «Нет. Но я только что ви-дел *такую же* ... Только я не знал, что это «Устав». Я никогда не думал, что он выглядит так. Мне представлялось, что первое издание – это внушительный том...» – «Господи, – говорит мама, – где ты его видел? Это бред...» – Саня засмеялся на ходу, поглядывая на Даню. У того лицо было внимательное. – А папа опять шепотом: «В букинистическом магазине. В бывшей лавке книгопродавца Смирдина...» Знаешь, Даня, это в начале Невского проспекта, рядом со старым кафе. С тем самым, откуда Пушкин уехал на дуэль...

– Знаю, мы заходили туда. Не в кафе, а в лавку. В ней при Пушкине его новые книжки продавались, дед рассказывал...

– Правильно!.. Вот папа и говорит: «Бежим!» И по-мчался, не слушая маму... По набережной, по мосту, мимо Адмиралтейства. Плащ трепыхается, очки один раз уронил, мы еле поспеваем... Мама говорила потом, что мы были похожи на семейство, которое забыло выключить дома утюг и вспомнило об этом на полпути... Ворвались в магазин, папа сразу к шкафу: «Девушка, вот эту книжку, пожалуйста, покажите!» А де-вушка: «Да это ничего интересного. Старый морской устав...» – «Вот-вот! Именно...» И скорей за книжку ухватился. А мама, конечно: «Сколько стоит?» Потом бледная сделалась и села. Хорошо, стул рядом... Но разве папу остановишь, когда у него в руках такая редкость!.. Короче говоря, после этой покупки осталось у нас три рубля с копейками. Только-только, чтобы бабушке позвонить: «Спасите наши души, сидим на мели, шлите деньги телеграфом до востребования...» Но чтобы денег дожидаться, надо остаться в Ленинграде! Вот, мы вещи забрали с теплохода, напросились в квартиранты на три дня к одному папиному знакомому. Решили: получим деньги, догоним теплоход в Петрозаводске...

– И не догнали, – вздохнул Даня Рафалов.

– Потому что перевод задержался. Хотя и телеграф, а такая волокита... Но мы все-таки еще путешествовали потом. На поезде и на местных теплоходах. Побывали и на Валааме, и в Петрозаводске, и на острове Кижы. А оттуда домой, о Волге пришлось забыть...

– Ох и досталось, наверно, бедному папе от мамы, – сказал Даня Рафалов.

– Ты знаешь, нет! Не очень... Во-первых, это бесполезно. Папа все дни ходил в обнимку с этой книжкой и... ну, весь в себя ушел, будто в другое пространство. Так что ругать его не имело смысла. Да и за что? Волга никуда не денется, а тут такая удача – это же раз в жизни... Папа говорит: «Я и не предполагал, что такой раритет может быть в свободной продаже. Говорят, в семьсот двадцатом году этот „Устав“ был напечатан всего в количестве пяти-сот экземпляров. А сколько их погибло во время морских сражений, войны, блокады, сколько потерялось! Остались наверняка единицы. Это же пер-во-из-дание!» Согласись, Даня, что удивительная история!

– Прямо роман, – отозвался Даня. – Ты, Салазкин, будто писатель: все прочитал, как по собственной книге.

– Потому что папа столько раз эту историю всем знакомым рассказывал. Я наизусть запомнил. Только теперь переделал, чтобы от своего лица, а не от папиного...

Даня Рафалов сказал:

– А мы с дедом в Ленинграде тоже одну старую книгу купили. В магазине на Литейном проспекте. Толстенный такой том Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Дед в него тоже вцепился, говорит: «У меня такая в детстве была, бабушкин подарок». Она в девятьсот одиннадцатом году напечатана. Куча картинок и крупные буквы... Я потом каждый вечер читал в каюте до ночи...

– Ты тоже любишь читать в постели?!

– Естественно... Дед ворчал сперва: глаза, мол, портишь. Я говорю: «А сам-то разве не читаешь по ночам?» Он рукой махнул...

«Все про деда и про деда, – с легкой тревогой подумал Саня. – Они что, вдвоем живут? Не спросить бы лишнего...» Страшновато ведь: вдруг нетактичным вопросом разрушишь вновь начавшееся знакомство.

– Ну вот, пришли уже... – осторожно сказал Саня. – Но теперь-то уж мы точно еще увидимся, да?

– Конечно!

– У вас сколько сегодня уроков?

– Пять.

– А у нас четыре. Ну ничего...

Первым был английский. Кабинет оказался еще за-крыт, у дверей гомонили одноклассники. Кинтель увидел Алку Баранову.

– Мисс Рэм, дай скатать перевод, я дома совсем забыл, что надо делать письменный...

– Лодырь, – сказала Алка.

Они с Кинтелем еще с детсадовских времен были врагами-приятелями. Вечно спорили, и Алка всегда его подьедала и критиковала. Но выручать не отказывалась. Она сунула Кинтелю тетрадку, он устроился у подоконника. Тут же примостился сбоку Ленька Брянцев, обычно именуемый коротко – Бряк. Один из «достоевской» компании. Тоже начал писать и посапывать. Потом спросил:

– Чё, в натуре, что ли, закорешил с каким-то «дворянчиком»? Пацаны говорят...

Кинтель не стал его обзывать, разъяснил сдержанно:

– Никакой не «дворянчик», нормальный парень. Мы с ним в прошлом году на теплоходе вместе пла-вали... Что теперь было делать: пройти и не засту-питьсь?

– А чё в «Гнезде» живет? Там одни сыночки начальников.

– Бредятину какую-то несешь. У него отец учитель истории. Где квартиру получили, там и живут. Отказываться было, что ли? – И не выдержал: – Что у вас за привычка всегда врагов выдумывать! Лишь бы охотиться за кем-то. Как стая...

– У кого это «у вас»? – оскорбился Бряк. – А ты не такой, что ли?

– Я на людей не кидаюсь... И так по всей Земле грызня идет, а тут еще на своей улице гражданскую войну разводить...

– Ну да, ты у нас юный пионер. И тот такой же. Вот и сошлись два сознательных...

– Ну и не?фига у сознательного задание списывать, отвали на полдистанции. Алка не тебе тетрадку дала, а мне...

– Потому что она всю жизнь в тебя влюбленная...

– Вот именно! А ты ищи свою влюбленную... Иди-иди...

– Ну чё-о-о! Мне «англичанка» вторую пару вкатит!

– Тогда не возникай... И не вздумай к Саньке Денисову, к парнишке этому, прискретаться. И другим скажи... Что за люди!

«В самом деле, что за люди», – думал Кинтель о своих приятелях с улицы Достоевского.

Вроде бы, когда разговариваешь с ними, или игру затеваешь, или дело какое-то, нормальные ребята. Не дураки. Джула вон одной фантастики тыщу книг прочитал... Не жадные, заступаются друг за друга. Или когда вечером разведут костерок на пустыре, Вовка Ласкутин

принесет гитару – так хорошо всем вместе делается, готовы друг за друга хоть куда... И такую дружную бригаду прошлым летом склепали! Джула добыл где-то длинный садовый шланг, разыскал среди развалин действующий водопроводный кран, провели кишку к обочине на Первомайской, там часто ходят машины. Поставили плакат: «Артель „Веселые брызги“, мойка автомобилей. 1 машина – 10 руб.». Желающих полно оказалось, даже в очередь вставали. А лихая артель как навалится на машину! Кто со шлангом, кто с ведром и мочалкой! Через пять минут автомобиль – словно сию минуту с завода!.. И деньги делили без всякой ругачки, поровну, только Джула за свой шланг брал из общей выручки лишний рубль... Кинтель тогда за неделю заработал сорок пять «деревянных». Жаль, что артель не протянула долго: кто-то украл у Джулы шланг...

Впрочем, спор с Ленкой не испортил Кинтелю настроения. Он спокойно радовался хорошей погоде, когда вышел из дому, та же бесхитростная радость усилилась от встречи с Салазкиным. И теперь не исчезла. На коротких шумных переменах Кинтель Салазкина не встречал, но радость не проходила. Лишь на пятом уроке ее подпортила «литераторша» Диана Осиповна.

Кинтелю казалось, что Диана – *она самая*. Та учительница, из-за которой он в шестилетнем возрасте едва не схлопотал отцовских «блинов». Память на лица, как известно, была у Кинтеля скверная, но на девяносто процентов он был уверен. Диана появилась в этой школе в прошлом году. Скорее всего, она, как и Кинтель, переехала с Сортировки. Порой Кинтелю казалось, что Диана его тоже помнит, хотя и не уверена. По крайней мере, она часто поглядывала на Рафалова как-то по-особому и придиралась больше, чем к остальным. В прошлом году она преподавала у шестиклассников русский и литературу, а в этом – вот сюрприз! – стала в седьмом "А" еще и классной руководительницей. Впрочем, Кинтель не очень расстраивался. Русский язык для него не был трудной наукой, литература – тем более. Поведения он был спокойного и к мелким Дианиным пакостям относился философски.

Нынче, однако, Кинтеля взяла досада. Это когда в конце урока Диана заявила:

– Летом вы все обязаны были прочитать «Тараса Бульбу». Кто поленился, читайте безотлагательно. Скоро мы начнем изучать это лучшее произведение Николая Васильевича...

«Обязаны были прочитать!» Кинтеля толкнула неожиданная злость. В последнее время он стал замечать в себе такие вот вроде бы беспричинные вспышки раздражения. И не всегда сдерживал их: надо клапаны-то открывать, чтобы «выпустить пар». Сейчас, правда, сдержался. Но не совсем. Сказал вполголоса:

– Ох уж, «лучшее»...

«Вечера на хуторе...» – это да! Кинтель очень любил их, читал не раз еще и до прошлогодней поездки. А «Тараса Бульбу» впервые прочел на «Кутузове», и повесть эта его... ну как ржавой теркой по душе. Был это какой-то совсем другой Гоголь, хотя вроде бы там тоже Украина, казаки...

– Чем недоволен Рафалов? – поинтересовалась Диана Осиповна.

– Всем доволен. Только «Вечера...» лучше.

– Ты уж поднимись, будь любезен, когда беседуешь с преподавателем... Оценка произведений – дело, как говорится, вкуса. Но есть школьная программа. И кроме того, «Тарас Бульба» – это самая героическая книга Гоголя. Сгусток патриотизма...

Ох, не надо было связываться! Но, глядя в окно, Кинтель тихо спросил:

– Это, что ли, когда в Днепр евреев кидают? Или польских грудных младенцев на копьях?

Класс притих. Особенно Бориска Левин, скромненький такой очкастый шахматист, с которым Кинтель сидел на одной парте.

– Ты... – выдохнула Диана. – Ты, Рафалов... поступаешь, извини меня, просто подло. Ты выдергиваешь от-дельные эпизоды... которые обусловлены определенной эпохой... не давая себе труда выявить общую тенденцию...

– Эпоха получается похожая, – все так же негромко выговорил Кинтель. – Как послушаешь радио...

– В том, что говорится по радио, Николай Васильевич не виноват! А ты... ты просто оскорбляешь! Нет, не меня! Мне обидно за великого писателя!

– Мне тоже... – вздохнул Кинтель.

– Всё! Можете быть свободны!

В коридоре Алка Баранова сказала:

– Скребешь на свою голову, Данечка. Диана Осиповна – человек памятный.

– У нас плюрализм, – буркнул Кинтель.

– Вот-вот. Она тебе и покажет «плю»...

– Скажет «подбери соплю», – вставил оказавшийся рядом Ленка Бряк.

– Сам подбери.

На крыльце настроение опять улучшилось.

Школа выходила фасадом в сквер со старыми кри-выми кленами. Было много ярко-желтых листьев, но летнее тихое тепло еще по-прежнему согревало окружающий мир. На кленах, будто елочные игрушки, болталась там и тут малышня с пестрыми ранцами – отпущенные с продленки первоклассники и второклассники. На вытоптанной площадке был вкопан турник. На турнике, уцепившись ногами, висел вниз головой Салазкин. В таком положении он ловил красный мяч, который с хохотом пинали в его сторону два продленочных пацана.

Салазкин увидел Кинтеля. Пропустил мяч, упал с турника на руки, вскочил. Нерешительно заулыбался. Кинтель сразу понял: Салазкин ждал его. Целый час! Хотя и делал вид, что он здесь просто так, забавляется с малышами.

– Привет, – небрежно сказал Кинтель. – Домой пойдешь?

– Да, разумеется! – Салазкин подхватил с земли сумку.

И они пошли. Салазкин смущенно поддавал ногой сухие листья. При этом слегка косолапил.

– Чего хромаешь?

– Ерунда! На физкультуре ступню подвернул... А ты...

– Что?

– Какой-то немножко хмурый.

Кинтель был не хмурый, он улыбался внутри. А что насупленное лицо, так это не стерлась еще память о стычке с Дианой.

– С классной поругался. На почве расхождения литературных взглядов... – Он дурашливо вздохнул. – Не надо было, да прорвалось. Наверно, зловещий переходный возраст наступил.

Салазкин весело оживился:

– Ой, у меня мама этого возраста как чумы боится! Если что не так, сразу: «Ну вот, он уже наступает!» Я говорю: «В десять лет еще рано». А она: «Но все равно это случится! И мне заранее жутко...»

«Наверно, единственное дитя у мамы», – со скрытой усмешкой подумал Кинтель. И Салазкин, кажется, угадал эту мысль:

– У меня две сестры: Зоя и Соня, близнецы. Они уже студентки, в Москве. Мама говорит, что с ними не было никаких забот и тревог. А со мной...

– Господи, а с тобой-то что? – вырвалось у Кинтеля.

– Ну-у... – Салазкин смешно помотал головой (коричневые волосы разлетелись). – Я не укладываюсь в параметры... Сейчас ведь как? Чтобы семья считалась «на уровне», нужен минимальный набор: импортная стенка в гостиной – раз, цветной телевизор – два, машина «Жигули» – три, породистый пес – четыре и ребенок, который занимается музыкой, или английским, или фигурным катанием, или еще чем-нибудь таким...

– Значит, все в тебя уперлось?

– Представь себе! Стенку добыли, в давние времена еще. Телевизор имеется. Пес, он хоть и без родо-словной, но вполне приличный терьер. Машины нет, но тут уважительная причина – мама страшно боится, что папа, если будет водить автомобиль, врежется в первый же столб. А больше никому... А со мной – просто беда. Никаких ярких данных.

– Ну уж... – вежливо сказал Кинтель.

– Даю слово!.. В английскую школу не взяли, потому что картавил в детстве. К спорту – ни малейшего призвания. К музыке – тоже...

– Ты ведь здорово пел тогда на «Кутузове»...

– Ох уж «здорово»! Просто вспомнилась эта песня... Кстати, музыкальный слух – это еще не талант. Голоса-то никакого. А если бы и был, у мальчиков он в четырнадцать лет все равно пропадает...

«А откуда эта песня?» – хотел спросить Кинтель. И не решился почему-то. Словно почуял границу, за которую при непрочном знакомстве заходить не стоит, хотя Салазкин и был вроде бы бесхитростно откровенен. Кинтель сказал о другом:

– А бывает наоборот: в детстве никакого голоса, а потом вдруг бас, как у Шалапина...

– Кстати, папа обожает Шалапина! У него старинные пластинки есть. И книга – шалапинские мемуары...

Так вот, болтая, прошли они по улице Мичурина, по Камышловскому переулку, вышли на улицу Достоевского. Кинтель не подал виду, что заметил, как в Камышловском переулке напрягся и стрельнул глазами Салазкин, ожидая встретить недавних врагов. Никого не встретили. Миновали дом Кинтеля, но Кинтель промолчал об этом. Уже когда желтые утесы «Гнезда» на-двинулись вплотную, Салазкин спохватился:

– Ой, а ты где живешь?

– Прошли уже.

– Ой... а почему ты... Меня, что ли, провожаешь, да?

– Ну... шагаем и шагаем. Заговорились.

– А то я подумал: может быть, ты решил, что я боюсь один идти... – Салазкин бросил зеленый взгляд.

– Ничего я не решил... Да и не тронет никто тебя теперь, я ведь предупредил. Они нормальные ребята, только иногда находит на них такое... «Классовая вражда» какая-то...

– Я понимаю, – покладисто сказал Салазкин.

– А еще мне охота было посмотреть, где ты живешь, – выкрутился Кинтель.

Салазкин обрадовался:

– Да? В таком случае идем до конца! Ко мне домой!

– Да ну, зачем это?.. – Кинтель вспомнил Денисовых – маму и папу.

– Пойдем, пойдем!.. Я понимаю, ты стесняешься. Напрасно, потому что дома никого нет. Кроме Ричарда... Мама приходит позже, папа со студентами на картошке...

Они вошли в крайний подъезд шестнадцатиэтажной громады. Поехали в лифте. Кинтель – с удовольствием: не часто случалось такое. Специально кататься на здешних лифтах он с «достоевскими» ребятами не ходил. Чудилось в этом что-то унижительное: быть чужим, ждать, что закричат и прогонят...

Салазкин уже в кабине деловито вытянул из-под галстука ключ на шнурке. В коридоре на девятом этаже, когда Салазкин подступил к двери, бухающим эхом отдался собачий голос.

Дверь открылась, сунулся из нее большущий, с жесткой бараньей шерстью пес. Но Салазкин запихал его обратно.

– Даня, входи... Ричард, это Даня, свой! Ты должен его уважать.

Пес помахал хвостом-обрубком в знак того, что согласен уважать Даню. Доброжелательно обнюхал его брюки. И Кинтель бесстрашно потрепал Ричарда по за-гравку.



Салазкин сказал:

– Дома он со всеми добродушный. А вот на улице постороннего не подпустит. Если бы я сегодня шел не один, а с ним, никто бы не пристал...

– Теперь и так никто не пристанет, – снова успокоил Кинтель. И стал расшнуровывать кеды.

– Да не надо! У нас дома нет такого японского обычая, чтобы обувь снимали... Пошли!

Квартира была трехкомнатная. С хорошей мебелью, но без лоска, который ожидал увидеть Кинтель. С азметным беспорядком, какой бывает, если в доме все заняты и нет времени для постоянной приборки. На стенах – желтоватые гравюры со всякими античными персонажами, в рамках и под стеклом. И всюду книги, книги, книги... Кинтель ревниво подумал, что у них с дедом и десятой части не наберется, хотя Виктор Анатольевич был тоже библиофил... А еще тут и там пестрели на полках глиняные расписные игрушки: красавицы в пышных юбках, лихие гармониисты, индюки с радужными хвостами, разноцветные кони с выгнутыми шеями. Салазкин заметил, что Кинтель смотрит на них:

– Это мамины. Она специалист по народным промыслам. Раньше работала в Управлении культуры, а теперь ушла в малое предприятие, расписывает дымковских кукол. Их знаешь как ценят! Иностранцы приезжают – и весь товар нарасхват! Потому что это ведь искусство...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.